

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 9

1979





საქართველოს
ხალხთა რეპუბლიკის
ხალხთა ბიბლიოთეკა

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«ИЗВЕСТИЯ»

Амирэджиби Ч. «Дата Туташхия». Роман. Пер. с груз. автора. Послесл. А. Руденко-Десняк. Худож. М. Попков. Москва, 1979. 715 с. с ил. (Б-ка «Дружбы народов»). 220.000 экз. 2 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Чавчавадзе И. Стихотворения и поэмы. Пер. с груз. Вступит. статья и сост. В. Д. Жгенти. Л., Ленинград. отделение, 1979. 317 с. (Б-ка поэта. Малая серия. Изд. 3-е). 50.000 экз. 90 к.

Искандер Ф. «Под сенью грецкого ореха». М., 1979. 392 с. 15.000 экз. 1 р. 70 к. В одном томике вошли повести «День и ночь Чика», «Морской скорпион» и «Дерево детства».

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Хетагуров К. Лирика. Переводы. Сост. К. Гутиев, М., 1979. 183 с. с ил. 10.000 экз. 2 р. 20 к. — Сувенирное издание. Формат 60 x 77 мм.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Канделаки Р. «Бродил художник по городу». Повести. М., 1979. 255 с. с ил. 75.000 экз., 65 к. Для среднего и старшего возраста.

«М Е Р А Н И»

Чачава Н. «Прощание». Стихи. Пер. с груз. Тбилиси, 1979. 181 с. 2.000 экз. 70 к.

Думбадзе Н. «Закон вечности». Роман. Рассказы. Пер. с груз. Тбилиси, 1979. 368 с. 80.000 экз. 1 р. 60 к.

10-335
1979, 3



Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

- ЛИЯ СТУРУА. Стихи. Переводы Юнны Мо-
риц и Марины Кудимовой 3
- ОТАР ШАЛАМБЕРИДЗЕ. Стихи. Перевод Свет-
ланы Кокоревой 8

ПРОЗА

- ГУРАМ ПАНДЖИКИДЗЕ. Год активного Солнца.
Роман. Перевод Ушанги Рижинашвили 12

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ. Уроки Толстого. Перевод
Анаиды Беставашвили 73
- ЕКАТЕРИНА ГЕНИЕВА. «Джакомо Джойс»,
воскрешенный по-русски 85

ПУБЛИЦИСТИКА

- Э. БАГРАМОВ. Марксизм-ленинизм — научное
мировоззрение 97

9

1979

ОЧЕРК



НОДАР ДУМБАДЗЕ. Возвращение Одиссея. Пе-
ревод Александра Златкина . . . 112

ИСКУССТВО

ПАОЛА УРУШАДЗЕ. «Жизнь и смерть Ри-
чарда III» Перевод Ирины Шелия . . . 125

МИХАИЛУ МРЕВЛИШВИЛИ — 75 ЛЕТ . . . 136

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

ЛАДО ГУДИАШВИЛИ. Книга воспоминаний . . . 137

ГРИГОЛ АБАШИДЗЕ. Незабвенный друг . . . 153

ВЛАДИМИР МАЧАВАРИАНИ. Памяти Симонова 154

АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ» . . . 156

ХРОНИКА . . . 158

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА . . . 160

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алек-
сей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛА-
ШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответст-
венный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГ-
ВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ,
Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (за-
меститель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

НАШ АДРЕС: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора —
93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59,
отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел
критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очер-
ка — 93-65-19.

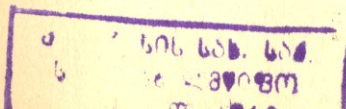
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

ОСЕНЬ

Ежеутренне я просыпаюсь
 под пение цивилизованного, стилизованного петуха —
 символически солнце взошло,
 но идет беспросветный дождь...
 Белая известь сырости
 шелестит и слонится на улице,
 и там из машин полинялых,
 словно из туч запоздалых,
 из электрической дрожи,
 выливаются люди, и тоже
 превращаются в дождь, и тоже
 превращаются в дождь...

Одеваюсь, пью молоко.
 Вкус дождя глубоко проник в молоко.
 Струйка страха на миг леденит гортань —
 в такую дождливую рань
 даже воздушные слівки,
 эти воздушные замки
 (главный предмет моей роскоши),
 могут отворожиться в тучу
 и взять мое тело и душу,
 чтоб выпустить, выдохнуть позже,
 но превратить меня тоже
 в этот дождь, превратить меня тоже
 в этот дождь...

Я мечтаю о летней жаре
 и о тени, которую можно собрать
 из лоскутиков ситца...
 Выхожу, а на улице дождь.
 Я слоняюсь без цели в пространстве,
 обожравшемся автомобилями.
 Я вижу, как день напичкан
 только часами «пик».
 И привычками пить молоко.
 Воскресенье недалеко,
 постепенно я приближаюсь
 к воскресенью, а воскресенье —
 день, когда петушиное пенье
 окрашено в красный цвет
 и спящий упругий мяч.



вырывается, как струя
из бетонного бытия, монотонного бытия...



Снаружи по-прежнему дождь.
По-прежнему дождь, и все же —
воскресенье, и я не боюсь,
не боюсь превратиться тоже
в этот дождь.

Я сегодня играю на скрипке,
потому что должно воскресенье
отличаться хоть чем-то от будней,
Голубая, прозрачная скрипка,
прозрачная и голубая,
очень похожа на ангелов
и слабогрудых детей...

Но там, за колючей проволокой
туго натянутых струн,
если только рискнешь перейти
голубую границу вечности,
там, в эпицентре скрипки,
скрипки моей воскресной,
моей воскресающей скрипки,
там — очень высокий мальчик,
хрупкий, прозрачный мальчик,
он умер давным-давно
и красный кристалл темнеет
вместо живого сердца,
стеклянная тьма краснеет
вместо живого сердца,
стеклянная красная тьма.

* * *

Знобящие воспоминанья о кори,
О красной, священной, мистической хвори,
Которую в Грузии звали всегда
Почтительно — «красные господа».
На красных крылатых конях в вышине
Спешат господа, приближаясь ко мне,
Как солнце, пылают их красные латы.
У бабушек что-то глаза красноваты...
Краснобородые вестники кори
Сладко звенят бубенцами в просторе.
Эти бубенчики красноязыкие
Детство слизнули — сладёны великие,
Детство слизнули, как мед, но за это
Выдали таинство красного цвета...

То, что скрывали, спасая мой дух,
Было — как жертвенный, красный петух,
Красный от крови, от крови алмазной,
Заледенелой, камнеобразной.

Тайнство было съедобным ягненком,
Было насквозь серебристым ребенком.
А не цветами, летящими в дар,
Чтоб накормить ненасытный кошмар.
Это была моя собственность — смерть,
Собственность — воздух и собственность — твердь,
Собственность — вкус молока и кутьи,
Туманность рожденья и сладость пути....

И вдруг озарило: когда-нибудь я
Отдам свое тело — во имя, и для,
И ради другого такого же тела
Я смерти отдам свое красное тело,
Полное красными петухами,
Ягнятами красными полное тело...
И детям, когда они смогут впервые
Выразить чувства и мысли живые, —
Им покажусь я природой широкой.
Себе покажусь не такой одинокой.

Перевод Юнны МОРИЦ

АПОЛОГИЯ УЮТА

В постели он не залеживается:
давным-давно
не слетают к нему сны в «рапиде»
на ангельских восковых воскрыльях.
Они смыты
потоком тлетворного химического состава,
вoločащим тени
однокашников, домочадцев, родителей
в их беспомощном небытии,
и растекшиеся лица
через равные интервалы пульсируют,
точно пневматические молотки
колотят в непрочную память,
и, надо сказать, зазря:
все углы обтесала о грани надгробий
алчность жизни,
и пыл поостыл,
поумерилась гордыня,
и жилка таланта,
грозившая лопнуть,
огрубела в струну,
и та резонирует возле аорты.
Образ жизни
поместился в числовом выражении:
подъем, служба, телесериал, чаепитие, сон —
с голубой аурой экрана
в придачу к вечернему чаю против утреннего.
И это свеченье



подчеркивало интерьер накоплений,
разумное соотношение
эстампов и столового серебра,
многолетнее размещение,
в результате которого образовался уют,
на которое гости падки,
как мотыльки.

Их мизерные сплетни,
ограниченные масштабами городка,
обросли неощутимыми для неискушенных колкостями.
«Все! Завтра сажусь работать!» —

как блиц,
иной раз прорывала сон короткая мысль.
Но кошмар в виде белой страницы
леденил до корней волос...

И было завтра,
и он не отвечал на звонки,
но пустыня гортани,
обезвоженная трёпом,
затертая барханами бессмысленных слов, —
безмолвствовала,

и охватывала такая сирость,
оттого что Музу не удалось залучить в гости,
что вперялся он в телевизор,
и герой бесконечного сериала
пустоту заполнял пустотой,
вкрапливаясь в янтарь остывшего чая,
а столовое серебро
сияло в ущерб рафинаду...

И вновь — неизменно —
подъем, служба, передняя, гости,
и вдруг —
когда еще не распробовано варенье —
какая-то трагедийность тона,
какое-то построение,
наподобие Парфенона,
античная колонна, аскетичная красота,
и у капители, срываясь,
шипят и рассеивается сплетня —
так испепеляются мотыльки,
прельстившись уютностью огня...

И — как ветром сдувает аудиторию,
не ожидавшую подвоха,
и человек,
ничего не зачавший,
полвека простоявший сухостоем,
единожды воспаривший до капители трагедии,
остаётся с самим собой,
поскольку в спокойную янтарную подсветку
подносимого ко рту чая
он привнес кровавый отблеск,
отпугнувший, как мотыльков,
однодневных, хоть и ежедневных гостей...

МЕТАМОРФОЗА



Неказистый горожанин,
что называется —
ни то ни сё, —
с безвольным загорбком,
с давна притерпевшимся
к крестовине службы и быта,
увидал как-то раз посреди обеда,
что у его ребятишек
пищеводы свирельные, птичьи,
услыхал в них тайный посвист,
не имевший извне источника,
зуммер,
который рассасывался
под напором калорийной горячей пищи.
Не доев, горожанин вышел наружу,
вяло всплеснул руками
и — обернулся деревом.
А ребята, заследом выскочившие, —
звездами.
Расселись они по родительским ветвям —
и души их соединились...
Но приснился ребятам вкус молока.
Были заморозки,
полнозвучные, точно фарфор,
а от спанья без подушки и сидя
стало колко телам, как в терние,
и, умудренные болью,
чада блудные вернулись под кров,
в белую гамму
привядших лепестков постельного белья,
летающего пуха
и молочных испарений...
Но горожанин,
узким лбом облака коснувшийся,
ушел без оглядки и не вернулся
с тех пор, как деревом обернулся, —
от страха за ребят,
умеющих быть звездами,
но разомлевших
от сытной снеди.

Перевод Марины КУДИМОВОЙ

Но просветленного я взора,
Как с неба, не свожу с тебя.
Он засияет Марсом скоро,
Звездой на закате дня.

На склоне жизни не случайно
Любовь нежнее и мудрей.
И в этом нет особой тайны:
Под пеплом долго жар углей...

СОН

Словно светом синевы далекой
Сном наполнилась моя сторожка:
Сединою тронута осока...
И лицо твое — пятном в окошке.

Встрече нашей я не удивился,
Сердце гулко и тревожно билось...
Месяц тучей синею укрылся.
С тихим скрипом
дверь

приотворилась...

Вдруг

спящей спицей

вниз упала

Молния!

А дождь уж сыпал споро,
И гроза по небу
рассыпала
Сумасшедший хохот
метеора.

Ты призналась:

«Я тебя

...любила...

Но сказать об этом не посмела...».
И рукой глаза мои прикрыла.
И, как дух, исчезла,
улетела.

Было утро золотисто-ало,
Ветер бил в набат, срывая ставни,
Духов сновидений разогнал он —
И расстался я с любовью давней.
День

увел меня

в свои заботы...

Но, как молния,

внезапно,

мысль пронзила:

Может...

тайно

любит меня кто-то,

И лишь эхом долетит:

«...любила...»



РЕПЕЙНИК

Ширакская степь гонит теплые волны, как море,
И признака зелени нет в этом желтом просторе.
И только репейник, как вызов всем силам природы,
Являет собой нестигаемость дивной породы.
Душа его затхлости праздной принять не сумела.
Томиться в домашних вазонах — последнее дело.
Постигли мы сладость и горечь с ним уединенья,
Нам смысл бытия открывается в эти мгновенья,
Впечаталось в небо слепящим клеймом ты, светило.
Откуда лучистость твоя, что за дивная сила?
Душе, чтоб творить, надо малость одну — вдохновенье.
Меж ним и душой расстоянье длиною в терпенье.
Терпенья земного не ведает небо, вот счастье,
И бренны поэтому наши земные ненастья.
Скажи мне, репейник, собрат по судьбине суровой,
Мечтал ли когда-нибудь ты... ну... о клумбе садовой?
Иль в скрипе арбы и горячем бреду суховея
Тебе мнятся звуки волшебные, пение феи?..
Резвишься ты в гриве коня, липнешь к ляжке бугая —
Нехитрое счастье... Но счастье не мы выбираем.
Не я выбирал себе долю, она мне досталась,
И крест этот тяжкий нести — вот и все, что осталось.
Скажи, если суть бытия есть боренье,
То что одиночество? Кара? Иль благоволение?
Во имя чего эта благодать? Никто не ответит.
Во имя чего в небе солнце без усталости светит?..
...Однажды репейник я видел на пашне весною.
Напомнил солдата он мне после жаркого боя.
Израженный, еле живой, но упрям в своей вере.
Всегда ль в испытаньях судьбы мы тверды, как хотели б?..
Не часто ль мы падаем ниц перед ней, предавая
Достоинство, честь... И в тщеславии меры не зная,
К высотам сомнительным рвемся, свой дух обезглавив.
Бесславно уходим в мир теней, и тень не оставив...
Не знает никто, что под занавес скажет он свету.
Предвиденье — дар, наказанье и счастье поэту.
А счастье, дружище, твое в неприступном сим даре:
Не будут тобой торговать на воскресном базаре.
Ну что ты приник к рукаву моему, горемыка?..
Душа твоя, видно, и божья раба и владыка.
Я сам в этой власти и жить по-другому не волен.
И шепчет мне степь, что любовью святою я болен...

СМЕРТЬ ПЕТУХА



Тенью предутренней тихо он двигался, как привиденье.
Крылья едва он тащил невесомые без оперенья.
Еле взлетел на плетень и с трудом, ох, с трудом удержался.
Силился голос подать, но лишь хрип, только хрип, раздавался.
И запоздала заря, не дождавшись, условного знака.
Если б он мог, если б мог, то с отчаянья горько б заплакал!
О, как он плох, как он стар, как он немощен, смилуйтесь, боги!
Где его хвост, его гордость, где шпоры, где сильные ноги?
Где оно, время былое? Пригрезилось?.. Или все было?
В прошлое старость, как в рай, все ворота взяла да закрыла.
Небо когда-то внимало ему в тишине удивленья.
О, как он славился райским, божественным утренним пеньем!
Как он умел вдохновлять на работу засону - светило!
Огненным жаром пера его солнце в ответ одарило.
Каждое утро исправно он долг отдавал поднебесью.
Тряпкой позорной теперь на плетне его хрипая песня...
Сумерки стлали туманы, и трудно, и тяжело дышалось.
В муках заря на востоке кровавым огнем разгоралась.
На земь бы, на земь спуститься с плетня — о, какие усилия!..
Не удержали в полете побитые старостью крылья...
Грудью, как сердцем, о землю несчастный ударился с маху.
Ветер над ним повздыхал безунывно: О, мир его праху...
Кровь, что когда-то и силу, и радость, и гордость дарила,
Клюв и траву молодую горячей росой обагрила.
Духи, как тени, слетелись к беде, собрались домовые.
В свете зари кровь горела огнем, словно угли живые.
Глаз приоткрыл... и гарем затуманенным взором увидел.
О, как он старость свою, как он смерть в этот миг ненавидел!
Криком прощальным, как чудо, из горла вдруг вырвалось
пенье.

О, пребыванье гостей в мире этом — короче мгновенья...
Вечность секунды земные бесстрастно сметает крылами.
День гасит ночь, ну а ночь, ради дня, мы порой гоним сами.
Часни кончаются наши и канут, как сами мы, в лету...
И голоса молодые до хрипа, встречая рассветы.

Перевод Светланы КОКОРЕВОЙ

ГОД АКТИВНОГО СОЛНЦА

Р о м а н

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Во сне я почувствовал, что кто-то стоит над головой и пристально смотрит на меня. Странное, пугающее чувство овладело мной. Медленно приоткрываю веки. Сначала в глаза бросается белизна полуразрушенной церкви, а потом бесформенная серая масса, приобретающая человеческие очертания, словно прибавили резкости.

Незнакомцу лет сорок пять, но по виду можно дать и больше. Так случается часто. Сельские жители здоровее городских, однако выражение их лиц намного опережает возраст. На левом плече незнакомца висит ружье, а мизинец левой руки покоится на кожаном ремне. В правой руке он держит сигарету и безмятежно затягивается.

Я не сразу понимаю, где нахожусь. Мое рассеянное, все еще затуманенное жарой и сном сознание, как сквозь объектив фотоаппарата, видит эту церковь, огромные стволы вязов, непрозрачную массу, оказавшуюся человеком. Красивый, плывущий в июльском мареве пейзаж еще не раздражает ни единой клеточки моего мозга.

Об этом я догадываюсь позже, когда туман постепенно рассеивается. А небритый незнакомец кажется продолжением бессюжетного, бесконечного сна, приснившегося мне наяву.

Пристальный взгляд этого человека и спугнул мой сон. А может, он и не смотрел на меня — просто стоял и ждал нашего пробуждения, кто знает. Но почему именно я почувствовал жжение двух лучей, пронизавших мое тело?

Я вижу полуразрушенную белую церковь.

Печатается журнальный вариант.



Вижу и чувствую, как проясняется мое сознание. Сердце по-прежнему бьется еле слышно. И пульс замедлен. Но зато я отчетливо ощущаю, как переливается по жилам кровь.

Я посмотрел по сторонам. Дато и Гия спят как ни в чем не бывало.

Дато лежит на спине, голова его покоится на узловатом корне вяза, красная разрисованная кепка напозла на самые глаза.

Гия, широко раскинув руки и ноги, уткнулся носом в землю. Левый глаз его чуть приоткрыт. Мной овладевает тревога, и я невольно ищу взглядом отверстие от пули на его спине...

Смотрю на часы. Скоро десять. Зевота сводит скулы — мы проспали целых два часа.

Лучи солнца не могут пробиться сквозь густую листву вяза.

Зато белая церковь, окруженная огромными вязами и клемами, сияет так ослепительно, словно кто-то собрал в огромную хрустальную линзу все солнечные лучи и направил их прямо на здание.

Мне кажется, что я даже вижу прозрачное пламя, возжженное на куполе.

Взгляд мой снова возвращается к незнакомцу. На этот раз я смотрю ему прямо в глаза. И он, словно давно ждал этого, вполголоса здоровается со мной. Видно, боится разбудить Дато и Гию.

Незнакомец снимает с плеча ружье и осторожно кладет его на траву. Потом лениво приседает на корточки и, опершись правой рукой о землю, устраивается напротив меня.

Я беззвучно отвечаю на приветствие. И тоже опираюсь руками о землю. Сначала я приподнимаюсь, а затем уже прислоняюсь спиной к вязу.

И снова зеваю.

Потом резко развожу руки в стороны и энергично потягиваюсь.

И улыбаюсь.

Улыбаюсь своему «энергичному потягиванию».

Шарю в карманах — в поисках сигарет.

И не нахожу.

Незнакомец догадался, что я ищу. Он ловко вынул из кармана потертой воинской гимнастерки пачку сигарет.

— Спасибо! — я опередил его, не дав ему встать.

Только теперь я увидел пачку «Марлборо», валявшуюся на траве. Видно, перед сном я не успел сунуть ее в карман. А может, просто положил рядом, боясь смять в кармане?

Понимаю, что думать об этом глупо. Но меня раздражает другое — не стал ли я часом забывчив?

Вроде бы рановато. Ведь мне всего лишь тридцать четыре. Точнее, тридцать четыре года и девять месяцев. Все одно — тридцать четыре.

С чего бы это я стал считать месяцы? Мне еще долго быть тридцатичетырехлетним.

— На, закури! — теперь уже я говорю незнакомцу и неловко бросаю ему пачку.

Он ловит ее с такой легкостью, что я уже начинаю сомневаться в своих предположениях о его возрасте.

Он внимательно рассматривает коробок. Его губы беззвучно шевелятся, пытаюсь прочесть надпись. И английский тут ни при чем — видно, он вообще не умеет читать глазами.

Впрочем, ничего удивительного тут нет — стоит только взглянуть на его небритое морщинистое лицо. Нет, не то. Морщинистое и небритое лицо еще ничего не означает. Главное в другом — узенький лоб и бездумные глаза, явно не перетруженные чтением книг.

Незнакомец упрямо рассматривает коробок и наконец осторожно несет сигарету к губам.

Я курю и по-прежнему шарю взглядом по спине Гии, отыскивая пулевое отверстие. И даже не одно — целое множество от автоматной очереди. Но на этот раз меня уже не тревожит его полуоткрытый глаз.

Незнакомец с сожалением возвращает мне коробок.

Бросить его мне он, видимо, не осмелился. Он приютился, потом встал на колени. Теперь он запросто мог передать мне коробок из рук в руки, но и этого он не позволил себе сделать. Он встал, подошел ко мне и с подчеркнутой вежливостью протянул сигареты. Затем снова уселся на место. Собственно, все так и должно было произойти. И вежливость тут ни при чем. Просто он признал мое превосходство.

«Превосходство», — смеюсь я в душе. Точнее, горько улыбаюсь. А впрочем, и слово «горько» не совсем верно выражает то, что я хочу сказать. Вполне возможно, сочетание «иронично улыбаюсь» гораздо больше соответствует тому, что я сейчас испытываю.

В деревне, надо сказать, вообще очень просто признают превосходство другого. Для этой странности в данном случае было довольно и того, что незнакомец счел нас за горожан. Быть горожанином наверняка означает для него быть тбилисцем. Впрочем, чтобы признать наше превосходство, ему за глаза должно было хватить даже красной разрисованной кепки Дато, не говоря уж о моих американских сигаретах.

Я небрежно сую коробок в нагрудный кармашек рубашки.

Справа, метрах эдак в тридцати-сорока от нас, в тени вяза отдыхают пятеро мужчин. Утром они косили траву.

Трое лежат навзничь и спят. Двое других, прислонившись подобно мне к стволу дерева, дремлют.

Удивительно, как вымахали здесь такие вязы и клены.

Церковь расположена в альпийской зоне, в двух километрах от селения. Два километра вроде бы не так уж и много, но селение виднеется далеко внизу, гораздо ниже альпийских лугов.

Вокруг церкви переливаются зеленою покосы, тут и там разбросаны картофельные поля.

Повыше, за хребтом, покрытым зеленой травой, сияют серебром вершины Кавкасонни.

В целой округе не видать ни единого деревца, до самого селения не встретишь даже захудалого кустарника. Лишь во-

16.03.59 20
04.08.1910333

круг церкви, словно по волшебству, взметнулись в небо могучие вязы и дубы вперемешку с кленами и ясенями.

В церковной ограде между деревьями виднеются старые могилы, густо поросшие бурьяном. Несколько могильных холмов еще сохранили следы человеческих рук, видно, насыпаны они сравнительно недавно — года два-три назад.

Селение вполнину опустело, и чем дальше, тем реже нарушали причитания и плач воцарившуюся здесь тишину.

Маленькая церквушка, возведенная из белого камня, неуклонно разрушалась. Купол, покрытый красной черепицей, провалился. Северная стена немилосердно осела. Трава буйно разрослась на остатках купола и в трещинах стены. А над звонницей мощно навис клен, пронижающий сильными корнями в расселины: чувствуется, что между кленом и стеной разгорелась война не на живот, а на смерть, скоро обещающая закончиться победой творения природы.

Я глубоко вдыхаю в легкие табачный дым.

Кашель сотрясает мое тело. С досады я резким щелчком подальше отбрасываю сигарету.

Мой кашель будит сначала Дато. Он резко садится, поправляет кепку и трет глаза.

Гия неторопливо поднимает голову и некоторое время смотрит в землю, потом переворачивается на спину, окидывает взглядом небо и блаженно потягивается. Незнакомца он заметил сразу, но, даже не сочтя нужным хоть каким-то образом отреагировать на этот факт, закрыл глаза и снова заснул.

Воздух недвижим. На зеркальном небе ни облачка.

Жара. Немилосердно печет. Даже для середины июля непривычно жарко.

Сегодня воскресенье. По идее, мы пришли сюда положить рыбу в реку.

Из лаборатории мы вышли в пять утра, но, пока добрались до церквушки, прошло целых три часа.

Жара уже с утра показала свой норов. Мы решили слегка передохнуть в тени вязов. Я сразу понял, что на этом наша рыбалка кончилась, впрочем к этому все и шло. Как и когда мы заснули, не вспомнишь. Но зачем я говорю за Гию и Дато? Это я не помню, как заснул.

Теперь рыбная ловля утратила всякий смысл. Лучше вернуться в лабораторию. Отсюда идти километров десять, а то и больше. К тому же надо карабкаться в гору.

От этой мысли меня передергивает. Каково шагать десять километров по такой жарнице? Уже одиннадцатый час. Солнце только-только набирает силу. А в жару и дорога кажется длинней.

Нет уж, лучше остаться здесь до вечера, поспать в тени деревьев. Надо было захватить с собой шахматы. К вечеру наверняка станет попрохладней.

Я зеваю.

Хочется курить, но вялость вконец овладела мной. Глаза закрываются, и нет никаких сил достать сигарету.

Резкость снова исчезла, словно кто-то невидимый нарочно крутанул рукоятку. Белая церковь подернулась пеленой,

а незнакомец вновь превратился в серую, бесформенную массу. Я явственно чувствую, как пепельный туман вползает в складки мозга. Может, мне все померещилось? Может, это — прежнему тянется бессвязный и бесконечный сон?

— Что это у вас за ружье? — издали доносится до меня хриловатый голос Дато.

Нет, это уже не сон. Открываю глаза. Дато и незнакомец стоят друг против друга.

— Да обыкновенное ружье, тулка!

— Можно глянуть?

Дато отобрал ружье у незнакомца и сделал то, что обычно делают в таких случаях, — отогнул ствол и посмотрел в канал.

— Да, оно же у вас заржавело!

— На наш век хватит! — улыбнулся незнакомец.

— Покажи-ка мне! — говорю я и быстро встаю.

И я проделал то же, что минуту назад Дато, — отогнул ствол и посмотрел в канал.

— Видно, ты ленишься его чистить. Патроны есть?

Сонливость и вялость как рукой сняло.

— Патроны-то есть, но здесь стрелять не во что!

— Дай патрон, я выстрелю в цель. Поглядим, на что способен твой винчестер.

Гия открыл глаза и присел так, словно бы и не спал вовсе. Я знаю, что он терпеть не может оружия. Я стою к нему спиной и, естественно, не вижу его открытого, добродушного лица, но даже спиной ощущаю, нет, «вижу» страх, затаившийся в его глазах. С минуты на минуту я жду, как он скажет — да не связывайся ты с этой чертовой машинкой, но Гия медлит!

Незнакомец протягивает мне патрон.

— Какого калибра?

— Гек.

Я вставляю патрон в магазин, но ствол не защелкиваю. Стою и думаю, во что бы стрельнуть.

Незнакомец догадался, что ружье мне не в новинку. Я посмотрел на его небритое лицо и сразу уловил на нем вымученный вопрос:

«Как, неужели ты собираешься стрелять здесь, в церковной ограде?»

Слово «ограда» здесь употребляют условно, подразумевая границы владения.

Пауза.

— Не стреляй здесь. В церковной ограде стрелять нельзя! — выдавил из себя незнакомец.

— Это почему же? Что, бог рассерчает? — улыбаюсь я, поглядывая на церковь.

— Да, бог рассерчает.

— Тогда давай выстрелим в этого самого бога!

Я вовсе не собирался палить по церкви. Но теперь мне вдруг захотелось подразнить незнакомца.

— Не надо, не делай этого. Все равно ружье не выстрелит.

В голосе незнакомца мне послышались страх и упрямая настойчивость.

— Что, испугался? — допытываюсь я.

— Мне-то бояться нечего, — незнакомца бесит моя про-
ническая улыбка. — Не советую я тебе делать дурное, все
едино ружье не выстрелит.

— Кто тебе сказал, что оно не выстрелит? — с издевкой
спрашиваю я и чувствую, как глубоко отпечталась в мозгу
незнакомца моя насмешливая улыбка.

— Никто мне не говорил, я сам знаю.

— Интересно знать, откуда?

— Многие пытались, но ружье не стреляло.

— Ты с чужих слов говоришь или сам видел?

— Видел своими глазами.

Я переглянулся с Дато и Гней.

Гня сидел, упершись руками в землю, и встревоженно
смотрел на нас. Дато, нахлобучив кепи на самые глаза и при-
щурясь, с интересом ждал, чем все это кончится.

— В прошлом году на пасху один пьяный выхватил на-
ган и попытался пальнуть по двери церкви. В-о-он в ту дверь!

— Незнакомец протянул руку к двери церкви, закрытой на
ржавый замок.

— Ну и что же, не получилось?

— Трижды дал осечку.

— Наверное, наган был негодный или патрон отсырел?

— Но стоило ему отвести наган в сторону, как сразу
раздался выстрел.

— Бывали и другие случаи?

— Я-то не видел, но рассказывают, что бывали.

— А все же?

— Мой родной брат сам видел в нижнем селении. Один
охотник в вербное воскресенье направил ружье на церковь.

— И конечно же, не выстрелил, так?

— С первого раза нет.

— Так, значит, со второго раза все же выстрелил?

— Да, со второго раза удалось, но вечером, когда они
возвращались восвояси, машина опрокинулась в ров. Из два-
дцати человек никто не пострадал. Лишь охотник скончался на
месте.

— Тем более, надо выстрелить.

Теперь уж я решительно поворачиваюсь к церкви, защел-
киваю ствол и взвожу курок.

— И все же я советую тебе не стрелять.

На этот раз в его голосе слышался не гнев, а отчаяние.
Я резко повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. И не-
вольно взрогнул, увидев в них страх и безнадежность.

«Стрелять?» — заколебался я.

— Ты, случаем, не струсил? — слышу я голос Дато.

Я опомнился, но уловить насмешку в голосе Дато не ус-
пел. И подозрительно посмотрел на друга.

— Может, ты струсил, я спрашиваю? — улыбнулся Дато.

— Мы, да и разве только мы, стремимся подтвердить в ла-
боратории материальность происхождения мира. А, оказыва-

ется, все до смешного просто: один выстрел — и вот тебе ответ на все вопросы, над которыми бились десятки поколений ученых.

— Нодар, не надо. Выбрось ты этот патрон, — слышу я нервный голос Гии.

Это решило дело. Я приложил приклад к плечу и прицелился в дверь церкви.

— Я свое сказал! — с угрозой в голосе произнес незнакомец и сделал несколько шагов назад.

«За остальное пеняй на себя», — мысленно закончил я недоговоренную фразу и положил палец на спуск.

Я слышу биение собственного сердца. Неужели я и впрямь струсил? Нет, вряд ли это можно назвать страхом. Но как же тогда назвать ужасное чувство, которым, словно свинцом, налилось мое сердце.

Я осторожно касаюсь пальцем курка. А сердце так и норовит выскочить из груди.

На мгновение меня поразила воцарившаяся вокруг тишина, и я невольно обернулся.

Гия сидит в прежней позе, зажмурившись в ожидании выстрела.

Дато застыл с погасшей сигаретой во рту.

Незнакомец стоит вполоборота, стремясь не видеть выстрела, но тревожное любопытство не позволяет ему отвернуться полностью.

Из пяти крестьян, мирно дремавших в тени вяза, четверо уже встали и подошли совсем близко. Лишь пятый, стоя на коленях, остался на месте и, выпучив глаза, уставился на меня. У всех пятерых в глазах застыли страх и жгучее любопытство.

У меня пропало всякое желание стрелять, но на смену пришла злость: неужели я и впрямь боюсь? Чего? Чего бы мне бояться?! Глупости...

— Нодар, не надо!

Голос Гии доносится до меня издалека.

Но уже поздно. Прогрохотал выстрел. Его звук так поразил меня, словно я не ожидал, что ружье выстрелит. Я почувствовал боль в плече, и лишь потом услышал, как эхо напоролось на окрестные скалы. Напоролось и тут же разлетелось вдребезги.

Стена церкви неожиданно заколебалась и разом рухнула. В небо взвились черные ласточки и летучие мыши. Развалины застила белая пыль.

Когда пыль осела, показалась покосившаяся звонница.

Я обернулся.

Все застыли в полном оцепенении. Гия и тот, коленами прижатый пятый, были уже на ногах.

Вдруг крестьяне в панике бросились врассыпную так, словно кто-то невидимый дал сигнал к бегству. Один даже перекрестился на бегу.

Хозяин ружья оторопело переводит взгляд с меня на обрушившуюся стену и обратно!

Я отогнул ствол и, стараясь сохранить на лице выражение беззаботности, вынул еще теплую гильзу. Потом подул в

дуло, изгоняя из него остатки едкой гари. Защелкнув ствол, я протянул ружье хозяину.

— Ну что, убедился? Ружью твоему и бог нипочем! улыбаясь, говорю я.

Незнакомец в полной растерянности глядит на меня, видимо, пытаюсь разгадать, насколько искренна моя улыбка.

Кто знает, что он прочел в моих глазах. Может быть, сожаление, которое я и сам остро ощутил в эту минуту? А может, страх или... Не знаю, что еще. А может, он увидел тот скользкий, холодный камень, который лег мне на сердце, грозя придавить меня своей непомерной тяжестью?

Неожиданно взор его обратился на ружье. Только теперь я осознал, что уже целую минуту стою с ружьем на вытянутых руках.

Он выхватил у меня ружье, на мгновение остановился у вяза и, обернувшись, в упор посмотрел на меня. Потом, взявшись за ствол ружья обеими руками, с размаху хватил прикладом о могучее тело дерева. Обломки он с отвращением бросил наземь и быстро зашагал к деревне.

Я не мог оторвать взгляда от его фигуры, мелькающей в покосах.

Я отчетливо вижу квадратный торс незнакомца, но мысли мои заняты другим. Я не хочу, чтобы Дато и Гия заметили мою растерянность. Я смотрю на мужчину, словно медведь переваливающегося в покосах, и соображаю, как вести себя дальше. Улыбнуться? А что сказать?

Наконец я поворачиваюсь к своим друзьям. И вижу свое лицо. Улыбка, застывшая на губах, совершенно не соответствует выражению моих глаз. Кажется, что улыбка вот-вот упадет с моих губ, как плохо закрепленная табличка со стены.

— Ну что, пошли прудить реку? — говорю я и чувствую фальшь в своем голосе.

Какое время теперь заниматься рыбной ловлей? Глупости. Самое разумное — завалиться в постель, закрыть глаза и ни о чем не думать, чтобы хотя бы на час отрешиться от всего мира.

— Нашел время рыбалить!

Это Гинн голос.

— Пойдем-ка лучше в лабораторию, — бодро произносит Дато.

Я не отвечаю. Возражать нет смысла. Еще через минуту я понимаю, что мы шагаем вверх по склону. Мое сознание не зафиксировало, когда я подчинился желанию Дато и как мы пересекли кладбище.

Солнце безжалостно обрушивает на нас колючие лучи. Мы шагаем в траве по колену. Все вокруг высохло и вылиняло.

Вытаскиваю сигарету и останавливаюсь прикурить.

— Не бросай окурка или горячей спички. Иначе не миновать пожара.

Это опять Гинн голос.

Я прикуриваю, тайком поглядывая на друзей.

Дато остановился, ожидая меня. Гия упрямо продолжает идти в гору. Наверное, потому, что у него нет никакого жела-

ния говорить. Я знаю, что его чувствительное сердце еще долго будет помнить сегодняшнее происшествие.

А Дато совершенно другой, Я убежден — он успеет на-чисто позабыть обвалившуюся стену церкви и омерзительный писк летучих мышей. Я уверен, что он уже не помнит ни о реке, ни о рыбалке. И мысли его витают вокруг камеры Вильсона либо вокруг пластинки, запечатлевшей уродливый след протона.

Вдруг раздался оглушительный грохот. Я оглянулся. Посреди кладбища, окруженного деревьями, вновь взметнулся белый столб известковой пыли. И вновь я ощутил на сердце огромный, скользкий, холодный камень. Сверху казалось, что кладбище с обступившими его деревьями дымится словно кратер.

Не знаю, сколько времени простояли мы так в оцепенении.

Наверное, столько, сколько требуется, чтобы выкурить одну сигарету. Этот мудрый вывод я сделал тогда, когда последняя затяжка обожгла мне пальцы.

Я бросил окурок на землю и надежно придавил его ногой. Потом снова посмотрел в сторону кладбища.

Пыль рассеялась. Покосившейся звонницы уже не было видно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кабинет отца.

Я, закинув ногу на ногу, сижу в углу в кресле и курю. Пепельница покоится на широкой ручке старинного кресла.

Мой старший брат стоит у окна. В руках у него дорогая зажигалка, которую он то зажигает, то вновь гасит.

Меня раздражает его вызывающее, безмятежное и самодовольное лицо. Треск зажигалки еще больше выводит меня из себя.

Я всячески стараюсь сдержаться. Наконец он кладет зажигалку в карман и уходит в столовую.

А там накрыт торжественный стол. Чья-то искусная рука красиво и тщательно расставила дорогой сервиз, хрустальные бокалы, разложила тяжелые серебряные приборы с монограммами. Эта «рука» принадлежит нашей новой домработнице, точнее домработнице моего отца, имени которой я не имею чести знать. Да и видел я ее всего два, не больше. И ни словом не перекинулся с ней, разве что благодарил, когда она ставила передо мной очередное блюдо во время обеда.

По столовой нервно расхаживает мой брат.

Все вроде бы готово, но отец медлит с приглашением к столу. Может, мы кого-нибудь ждем? Я невольно пересчитываю стулья. Во главе стола по обыкновению стоит старинный резной стул с высокой спинкой — для отца. В конце стола, прямо напротив отца, как правило, садилась моя мать. Тарелки, вилки, ножи, стаканы, как и прежде, лежат на старом месте, будто мама жива. Справа от отца всегда сидит мой старший брат со своей супругой, слева — я с младшим братом Резо.

Даже тогда, когда Вахтанг Геловани изволит явиться без жены, прибор для его супруги, точно так же как и прибор для моей умершей матери, стоит на своем месте.

Да, мы наверняка ожидаем кого-то. Слева от отца, там, где обычно сидим мы с Резо, стоит еще и третий стул.

Любопытство сразу зашевелилось во мне. Не скажу, чтобы я встревожился. Просто интересно, кто же приглашен на сегодняшней традиционный семейный обед.

Невольно смотрю на отца. Он очень сдал за два последних года, но для своего возраста выглядит все же бодро. Обычно спокойное его лицо напряжено. Нетрудно догадаться, что мы действительно кого-то ждем. Если хорошенько присмотреться, нетрудно догадаться и о том, что отец волнуется — в его глазах затаился страх.

«Интересно, кто это должен прийти?» — сверлит мой мозг жгучее любопытство.

Во всяком случае, не должностное лицо, иначе стул непременно поставили бы рядом со стулом первого заместителя министра Вахтанга Геловани.

Отец всегда соблюдает иерархию.

Я не был дома целый месяц. Казалось бы, что такое один месяц? Вроде бы ничего, но родительский дом мнится мне чужим. Правда, я вот уже два с половиной года живу один, в своей однокомнатной квартире, но даже тогда, когда я жил здесь, все мне казалось чужим.

Почему?

Я почувствовал во рту горечь.

Помню, как я вернулся в Батуми после десятилетнего перерыва. Все мне показалось там родным, даже улицы, по которым я никогда не ходил раньше. Впрочем, какое это могло иметь значение? Ведь я любил Батуми как живое существо, как человека.

Здесь же, в своем родном доме, все было мне вчуже. И не то чтобы только сегодня, всю жизнь.

Резо взволнованно ходит взад-вперед, и даже в размеренные движения первого заместителя министра, а в недалеком будущем, наверное, министра, Вахтанга Геловани вкралась нервозность. Они ждут не дождутся, когда наконец завершится традиционный семейный ритуал, столь значительный для моего отца и совершенно бессмысленный и набивший оскомину для нас.

Эту докучливую тишину и ожидание я переживал все же гораздо меньше других. Направляясь сюда, я уже заранее примирался с тягостной скучицей, ожидавшей меня здесь в течение трех-четырёх часов. И теперь терпеливо ждал, когда же они пройдут.

Моего отца, заведующего кафедрой гидравлики политехнического института, нельзя обвинить в отсутствии вкуса. В столовой, кабинете и спальне нет ничего лишнего, а все что есть — ценно и добротно.

Взять к примеру старинный сервиз, украшающий наш торжественный стол, серебряные приборы с монограммами или эти тяжелые хрустальные бокалы.

Отцу нравится, когда у нашего застолья праздничный вид. Сколько я себя помню, мы постоянно завтракали, обедали и ужинали за богато сервированным столом.

Меня всегда раздражал и утомлял церемонный дух, витавший вокруг стола. К тому же отец никогда не появлялся к трапезе без галстука.

Он любил, когда мы соблюдали ритуал, узаконенный на протяжении десятков лет. Как я уже говорил, отец всегда восседал во главе стола, спиной к глухой стене и лицом к матери, занимавшей место на противоположном конце. Вот уже пять лет как опустел мамин стул, но все эти пять лет он так и стоял на прежнем месте. Не могу припомнить случая, чтобы кто-нибудь сел на него. Традиция не нарушалась даже тогда, когда к нам приходили нежданные гости и сидеть было не на чем.

Этот ритуал, а точнее каприз отца всегда выводил меня из себя.

И тому была вполне понятная причина — ритуал этот казался мне бессмысленным и неискренним.

Возможно, я ошибаюсь, может, он и искренен, но привкус театральности, искусственности, фальши всегда сопутствовал ему. А что, как не фальшь, обесмысливает традицию.

Отец любил приобретать дорогие и редкие вещи. Чего стоят хотя бы эти громадные старинные часы, бой которых всегда рождал во мне чувство неизъяснимого наслаждения. Помню, в детстве, стоило мне только услышать звон часов, как я тут же прекращал свои буйные шалости. Их прекрасное звучание действовало на меня гораздо более благотворно и успокаивающе, нежели грозные окрики отца или истерические причитания матери.

Старинная, но отлично сохранившаяся мебель не утратила своей внушительности и благородства. Огромный сервант черного дерева с изящной, причудливой резьбой, громоздкие, но удобные кресла и диван, даже яркая китайская ваза, стоявшая в углу, как наказанный ребенок, не бросались в глаза и не причиняли беспокойства.

В столовой висят всего две картины. Одна — большая, натюрморт, другая — крошечная миниатюра.

Мелодичный бой часов. Уже два часа.

Я даже не заметил, как закурил.

Отец, стараясь не выказать волнения, нетерпеливо поглядывает на входную дверь.

Вообще-то говоря, люди отцовского возраста и профессии любят натуралистические картины. Чем больше рисунок приближается к натуре, тем большую ценность он для них имеет. Поэтому я не переставал удивляться отцовскому выбору — большая картина представляла собой вполне модернистский натюрморт.

Плоская ступка и три головки чеснока казались прикопаченными к полотну. Как отцу пришла в голову идея купить такую картину?

На миниатюре были изображены крыши старого Тбилиси. Лишь в самом центре рисунка виднелся балкон с резными перилами и кусочек двора. Думаю, что эта картина гораздо больше отвечала отцовским вкусам.

И рабочий кабинет выглядит вполне прилично. Книжные шкафы и стеллажи битком набиты книгами, но, несмотря на это, в комнате просторно.

Пол покрыт красноватым восточным ковром. Удивительно, но вызывающий красный фон совсем не режет глаз. Ковер пушист и мягок, но это чувствуешь только тогда, когда ступишь на него ногой.

Я часто замечал, как люди, впервые попадавшие в отцовский кабинет, обращали внимание на ковер, лишь ощутив под ногами необычайно пружинящий пол.

Для меня оставалось загадкой, почему они не замечали красный ковер, как только входили в кабинет? Может, из-за поразительной гармонии цветов, скрадывавшей его кричащую красноту?

Впрочем, не думаю.

Я, например, входя в отцовский кабинет, в первую очередь рассматриваю именно ковер. Но это происходит вовсе не потому, что в глаза мне бросается его краснота. Нет, просто такой уж рефлекс у меня выработался.

И все же мне кажется, что люди не замечают ковра по вине картины Пиросмани, висящей на противоположной входу стене кабинета. Она невольно притягивает к себе внимание человека.

На картине изображены тощая корова и исхудалый крохотный малыш. А за ними виднеются небольшие и жесткие зеленоватые штрихи. Как похожи печальные коровьи глаза на огромные и еще более печальные глазница мальчика! Если присмотреться, глаза ребенка вовсе не так уж неестественны, как может показаться с первого взгляда. Просто худощавое лицо и впавшие глазницы непомерно увеличивают их.

При виде этой картины в детстве у меня всегда сжималось сердце. Почему-то корову я жалел больше. Но теперь меня тревожит тощее коровье вымя, ибо я знаю, что эта корова и отец, и мать, и кормилица большеглазого, грустного малыша.

Картина висит так, что ее отлично видно из столовой, смежной с кабинетом. Обеденный стол стоит посреди столовой, и отец, сидящий во главе его, всегда может видеть картину через двери кабинета, которые он намеренно оставляет открытыми.

По его словам, он купил картину Пиросмани по случаю в 1935 году. И никогда не забывает при этом добавить, что отдали ее ему за бесценок.

Для меня и сегодня загадка, действительно ли отец так уж любит живопись или хотя бы эту картину Пиросмани?

Вообще-то он никогда не проявлял особой любви к искусству, холодно проходя мимо музеев, и ничего не видел, за исключением разве что репродукций и копий картин, пользующихся всеобщим признанием. Я убежден, что даже к ним он не испытывает ни малейшего интереса.

Так почему же он все-таки неравнодушен к картине Пиромани? Понятия не имею. Впрочем, вы, пожалуйста, не думайте, что я слишком уж ломаю голову над причиной этой загадочной любви. Просто к слову пришлось, потому я об этом и говорю.

Я сижу спиной к картине и созерцаю столовую.

Я впервые вижу отца в таком волнении. Он молчит, но даже в этом молчании ощущаются смятение и большая печаль, гнездящаяся в его душе.

Я опять курю. Не знаю, это все та же сигарета или, может, новая. Курит Резо. Дымит своим «Кентом» и Вахтанг Геловани. В белоснежных манжетах мерцают бриллиантовые запонки. Жарко, но его пиджак застегнут на все пуговицы. Щегольской галстук украшает дорогой костюм, сшитый по последней моде. Но июльская жара делает смешным его безупречный костюм, а духота лишний раз подчеркивает неуместность его одеяния.

Я плохо знаю своего отца, мы никогда не были духовно близки друг другу. Даже инстинктивная любовь, существующая обычно у детей к отцам, видно, достаточно ослаблена в моем случае.

И на то есть свои причины.

Отец никогда не был непосредственным. Его театральность, безмерная увлеченность ритуальностью и сохранением дистанции с детьми, во всяком случае со мной, не давали возможности приблизиться к нему.

Вот и сейчас он театрально вышагивает по столовой. Возраст у него уже не тот, и тем не менее он судорожно цепляется за роль главы семьи. Его желание наивно, но мой отец, профессор Георгий Геловани, по-прежнему энергично и упрямо стоит на своем.

Увы, уже поздно. Может, он и сам догадывается о бессмысленности своего упрямства, но виду не показывает. А может, он просто не заметил, как утратил свои позиции в семье? Если это и вправду так, то уже слишком поздно. Мы похожи на утят, которых дали высидеть курице. Стоило утятам дорваться до реки, как они тут же поплыли. И напрасны оказались вхоханье и кудаханье чужой наседки.

Я не случайно стал описывать отцовскую квартиру. И не без причины вспомнил отменный вкус отца. Не стану докучать вам описанием спальни. Скажу только, что маленькая карточка матери висит в изголовье отцовской кровати.

Однако увеличенный портрет моего покойного брата создает ощущение невыносимого излишества в столовой, обставленной с безупречным вкусом.

Почему бы отцу не повесить и этот портрет в своей спальне, подобно материнской карточке?

Почему он упорно навязывает свою печаль всей семье?

Наш старший брат скончался в восьмилетнем возрасте. В то время первому заместителю министра было три года, а я появился на свет два года спустя. О младшем же брате и говорить нечего.

Снимок мальчика с умными глазами за стеклами очков никогда не вызывал во мне ощущения, что некогда он был

жив. Я родился после его смерти. И к тому времени, когда я пришел в этот мир, карточка уже два года висела там, где она висит и сейчас.

С тех пор, как я так или иначе проник в сущность смерти, и даже в студенческие годы, я ни разу не взглянул на портрет брата. Он рождает невыразимое переживание: мне все мерещилось, что смерть еще не исполнена из столовой. Дрожь била меня, когда я случайно оставался один на один с портретом. В ожидании родных сердце тревожно трепетало, и под ложечкой ныло.

Однажды, расхрабрившись, я приоткрыл дверь столовой и посмотрел брату прямо в глаза. Я решил раз и навсегда побороть страх, раз и навсегда изгнать призрак смерти, гнездившийся в столовой. Все, что было потом, я помню, как в тумане.

Взгляд брата скрестился с моим взглядом. Испуганный, я бросился влево, но брат не сводил с меня глаз. Куда бы я ни пошел, безжалостный, холодный, умный взгляд брата из-за мерцающих стекол очков преследовал меня повсюду, словно стремясь испепелить меня.

Потом, когда я приоткрыл глаза, надо мной склонилось лицо соседки, обтиравшей мою грудь мокрым полотенцем. Обморок приписали малокровию. И по сей день никто не знает, что же случилось со мной тогда.

И все же почему громадный портрет маленького Зураба Геловани висит в гостиной?

Отец почему-то возмнил, что скорбь, вызванная смертью матери, принадлежит лишь ему одному. А брат... Видно, отец считает его выражением общей семейной скорби.

А я вот думаю, что все обстоит как раз наоборот. Не скажу, чтобы я любил мать какой-то особенной любовью. Скорее всего, я жалел ее. Наверное, поэтому я не мог ни в чем ей отказать. Мама была уверена, что я люблю ее больше других детей. И уверенность эта основывалась на том, что я никогда ни в чем не перечил ей, никогда не делал ничего вопреки ее желанию. Так было в детстве, так было и в студенческие годы.

Может, в том и состоит материнская любовь? Кто знает. А вот у меня совершенно иные представления о родительской любви. Она кажется мне чем-то огромным, безмерным, мистическим и даже божественным. Я почему-то уверен, что все, кроме меня и мне подобных, именно такой безмерной и божественной любовью любят своих родных.

— Мда-а! — неожиданно зевнул Вахтанг Геловани и посмотрел на свой дорогой японский хронометр, как будто у стены не стояли громадные часы. — Отец, может, ты хотя бы намекнешь, кого мы ждем?

На его голос в дверях столовой возникла фигура домработницы.

— Не подать ли первое? — спросила она у отца.

Отец не ответил. Женщина растерялась и, потоптавшись на месте, удалилась.

Лишь Резо проводил ее взглядом.

— Я, по-моему, ясно просил и тебя, и твоих братьев пожертвовать для меня сегодняшним днем.

— Да, да, конечно, извини! — улыбаясь, перебил меня с нами первый заместитель министра.

Резо уставился в пол.

Не знаю, что такого вычитал в моих глазах первый заместитель министра, но быстро отвел от меня взгляд и отошел к окну.

Помню, когда мне сообщили весть о смерти матери, я был в горах, в лаборатории. В тот день была моя очередь дежурить у камеры Вильсона. Я сидел за столом и рассматривал фотографии тяжелых мезонов.

Помню, как вошел Гия.

В комнате было темно. Стол освещался лишь тусклым светом проектора. Я не видел, кто вошел, но сердце подсказало мне, что это Гия. Он встал за моей спиной. И все-таки я догадался, что это Гия. Лицо его было пепельно-серым. Как я разглядел Гию в темноте? И как я вообще, не поворачиваясь, увидел его бледное лицо?

Об этом я размышлял уже потом, в дороге, на пути к Тбилиси.

Нет, я наверняка не видел его, просто догадался.

Его глаза сообщили мне импульс, трагический импульс. Именно этот импульс и подсказал мне, что в комнату вошел Гия, что лицо его бледно, что...

Что умерла мама.

Почему именно мама, а не отец или кто-нибудь из близких? Я сразу понял, что умерла мама.

Позже на пути к Тбилиси я не раз спрашивал себя — почему именно мама? Почему мама, а не кто другой? Ответить на этот вопрос я был не в силах. Вот если бы мама болела, тогда понятно, но мама ни на что не жаловалась, ничего ее не беспокоило, ни сердце, ни давление. Одним словом, не существовало, никакой видимой причины, чтобы можно было предположить такое. И вообще, почему мне в голову пришла такая мысль? Ведь Гия даже словом не успел обмолвиться?

Он всего лишь вошел в комнату.

Вот о чем я думал в машине по дороге в Тбилиси.

Он вошел в комнату, но вошел, наверное, как-то особенно. Это не было похоже на Гиины шаги, на шаги беспечного, жизнерадостного юноши, который даже в ярко освещенной комнате непременно спотыкался обо что-нибудь.

Гия вошел робко. Эту робость, а может, и страх, я почувствовал настолько явственно, что мне даже не потребовалось повернуться.

В тот момент, прильнув к проектору, я грустно разглядывал пластинку с искаженным следом протона.

Я отчетливо увидел бледность на Гином лице. Не знаю, как мне удалось это увидеть. Не знаю и того, как я догадался, что умерла мама.

Я обернулся на звук робких шагов. Было темно, но я увидел, что это действительно был Гия.



— Нодар... — тихо начал он.
Я почувствовал, что голос его дрожит.

— Что случилось? Умерла мама?

Гия осекся и замолчал.

Мертвая тишина.

Мне показалось, что прошла целая вечность.

В действительности же я успел лишь достать сигарету из кармана.

— Да, только что позвонили. Дато уже в машине. Мы едем с тобой.

Я окаменел, страшное чувство вдруг овладело мной. Неужели я не должен ощутить боли? В детстве даже мысль о смерти матери причиняла мне невыносимую боль.

Пауза.

Оторопь взяла меня. Я не знал, что делать.

Потом я достал из кармана спички и закурил. Я не мог простить себе, что так буднично выслушал весть о смерти матери.

Гия наконец пришел в себя и поднял на меня глаза.

— Возьми себя в руки, Нодар. Мы все рядом с тобой.

Это было сказано настолько неестественно и патетически, что я, не сдержавшись, хмыкнул.

Гия вконец растерялся. Не зная, куда себя девать, он устоялся на проектор. Потом вновь взглянул на меня.

Не знаю, что прочитал он в моем взгляде.

Этот тихий смех опустошил меня так, как прокравшиеся из космоса ионы разряжают пластинки электроскопа.

Наверное, у меня был дикий взгляд.

— Успокойся, Нодар! — сказал Гия. На этот раз голос его был естествен и искренен.

«Какое у меня тогда было лицо?» — думал я, сидя в машине.

Смехок, вырвавшийся у меня после первой фразы Гии, навсегда отбил у него охоту произносить нечто подобное. Но лицо мое, видно, исказилось до неузнаваемости. Видно, какая-то неведомая сила подсознательно дала почувствовать моему сердцу и мозгу смерть матери.

У меня появилось безотчетное желание увидеть себя со стороны, увидеть, как мое существо, независимо от моей воли, отозвалось на смерть матери.

И все же как я догадался, что умерла моя мать, а не кто другой? Правда, Гия был взволнован, это я заключил по его шагам, нет, не заключил, почувствовал, ибо тогда я ни о чем еще не думал и заключать чего-либо не мог. Я просто смотрел на искаженный след протона, изображенный на пластине.

Да, я почувствовал, что Гия взволнован, что он сообщил мне какой-то трагический импульс. Может, именно в этом импульсе и заключалась весть о смерти матери? Но ведь неприятные, дурные известия связаны не только со смертью. Ведь Гия мог сообщить мне все что угодно, не обязательно связанное со смертью близкого мне человека? Ну, например, что-то касающееся Эки. Ведь я тогда был без памяти влюблен в Эку.

Допустим, он сообщил бы мне, что Эка вышла замуж. Какое из этих двух сообщений поразило бы меня больше?

Горькая ироническая улыбка скривила мои губы. Дато сидел за рулем, Гия рядом с ним, я на заднем сидении, и они не заметили моей улыбки.

Почему я улыбнулся? Улыбнуться заставила меня вольная мысль. И впрямь, какое сообщение поразило бы меня больше — смерть матери или замужество Эки?

Не каждый способен подумать такое. А если и способен, тут же одернет себя, коря за святотатство.

Моралисты могут быть спокойны. Я вовсе не собираюсь устанавливать меру трагизма. Просто меня волнует степень его мгновенного выражения. Вполне возможно, что известие о замужестве любимой женщины поразило бы меня больше. В то мгновение, в ту минуту и даже в тот день мое существо испытало бы гораздо больше муки. Чего стоит хотя бы ярость оскорбленного самолюбия.

А со смертью матери ребенок свыкается с той самой порой, как поймет сущность смерти. Ребенок знает, что рано или поздно мать умрет.

Смерть матери — это смерть, к которой человек привыкает на протяжении многих лет. Поэтому эффект неожиданности тут гораздо меньше, нежели при совершенно непредвиденном случае. Но зато боль эта длительна. В особенности же, если мать умирает молодой.

В машине царил тишина. Слышалось только размеренное гудение мотора. Я вообще не выношу неритмичной работы мотора. Независимо от того, чья машина, моя или чужая. Это чувство развито лишь у людей, которые любят машину, словно живое существо. Мотор машины Дато работает безупречно. Я чувствую, как без натуги движутся поршни, как без остатка сгорает бензин. Дато отлично знает машину и не ленится за ней ухаживать.

Молчание.

Спасительные сигареты.

Я до отказа опускаю стекло. Ребята молчат потому, что молчу я. Сзади хорошо видно, как Дато искоса бросает взгляд в зеркало, стремясь уловить выражение моего лица. Я не хочу, чтобы наши взгляды встречались, и упорно смотрю в сторону.

А мысли мои уже заняты всякой всячиной. В Тбилиси мне не довелось бы побывать еще целый месяц. Я корю себя, стараюсь в самом зародыше подавить безотчетное чувство радости, но мне это удается плохо.

Реку можно запрудить, но остановить ее невозможно. Рано или поздно запруда не выдержит, река преодолет ее и по-прежнему стремительно понесется своим путем.

Я долго пытался запрудить эту мысль, но она прорвала ненадежную преграду. Я радовался, что еду в Тбилиси, радовался, что увижу Эку, радовался, что она вся в слезах будет робко стоять поблизости от меня. Я радовался, что услышу ее негромкий плач, ее горький искренний плач. Я радовался, что плач ее будет так же чист и прекрасен, как наша любовь.

Нелено было даже думать о том, что Эка станет оплакивать мою мать. Она будет плакать от жалости ко мне, будет

несчастна моим несчастьем... И эта мысль переполняла меня блаженством. Я радовался, что ее искренние слезы еще больше сближат нас.

Не помню, как я одолел лестницу. Справа меня поддерживал Гия, слева — Дато. Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться еще раз.

Я осторожно высвободил руки. Слабости я не ощущал, а актерства и фальши не выношу.

Я увидел на тахте маму. Тяжелая ткань табачного цвета покрывала ее, но я сразу узнал контуры материнского тела. Потом я заметил волосы, волосы моей матери. Только теперь я почувствовал, как сжалось, как уменьшилось мое сердце.

На глаза навернулись слезы.

Я вспомнил, что до этой вот минуты не уронил ни слезинки.

Я беспомощно огляделся вокруг. Тут же в углу я увидел Эку и удивился — когда это она успела войти? Мгновение назад ее там не было, наверное, пришла вместе с ребятами. Она плакала, не сводя с меня глаз. Она плакала потому, что жалость переполняла ее. Мою мать она не знала, даже ни разу не видела. Она плакала потому, что чувствовала мою боль. Может быть, даже больше, чем я сам. Когда наши взгляды встретились, огромный ком застрял в моем горле. Потом я сразу успокоился — Эка была здесь, и это много значило.

Я нагнулся и невозмутимо приподнял покрывало с лица покойной. Лицо несчастной сохранило след улыбки. Сомневаюсь, чтобы она умерла, улыбаясь. Видимо, губы ее застыли, создав подобие улыбки. Я опустил покрывало. Когда я поднялся, взгляд мой сразу отыскал Эку. Теперь она уже не плакала и с испугом смотрела на меня. Ей, видно, показалось, что я истерически зарыдаю, либо потеряю сознание. Глаза ее высохли, и она была готова прийти мне на помощь.

Мною овладело удивительное спокойствие. Только сейчас я заметил жалко сгорбившегося отца, братьев, родственников.

Со стены на меня глядел портрет покойного брата. Я не хотел смотреть на него, но взгляд мой невольно обратился к портрету. За стеклами очков мерцали умные, но холодные и безжалостные глаза, пристально смотревшие на меня. На лбу выступил холодный пот. Мне вдруг захотелось сорвать портрет со стены и зашвырнуть его подальше. Смертельная бледность покрыла мое лицо.

— Что с тобой, Нодар?

Резо схватил меня за плечи и подтолкнул к отцу.

— Иди ко мне, сынок! — зарыдал отец, заключив меня в объятия.

Я никогда не стоял так близко к отцу, никогда не ощущал так близко его дыхания и биения сердца. Никогда еще с такой остротой я не чувствовал себя частицей его крови и плоти. Я прижался к нему и едва удержался, чтобы не зарыдать в голос, коснувшись опущенных и слабых его плеч.

Может, это и есть любовь к родителям?

Но это скорее жалость, нежели любовь...

Я смотрю на отца. Он уже не в силах скрывать волнение. Старик мне определенно нравится. И выглядит он довольно симпатично. Возраст смягчил обычно энергичное выражение его лица, притушил блеск глаз, но зато придал ему больше интеллигентности.

Я сижу неподвижно и разглядываю родительский дом так, словно впервые попал в него. Сердце заняло. Я окончательно убедился, насколько чуждо мне тут все. Да, все вокруг кажется мне не только чуждым, но раздражающим и угнетающим. Надо бы уйти, да побыстрей.

Сколько я себя помню, мебель в нашей квартире всегда была расставлена в определенном порядке. Отец, а значит и мать — желания и воля отца были для нее законом — не любили перепланировок. Всем вещам в доме раз и навсегда были отведены свои места. Если собирались обзавестись новой вещью, для нее заранее назначалось место стояния, прикрепления или подвешивания. Да, сначала определялось место, а уж потом в соответствии с ним подбиралась вещь.

Портрет покойного брата висит здесь вот уже тридцать шесть лет, однако так и не закрепился в моем сознании, так и не смог найти в нем своего места.

По традиции мой стул стоит в столовой так, что портрет брата всегда оказывается за моей спиной.

Сидение за столом превращалось для меня в пытку. Сажу, бывало, и чувствую, как буравят мой затылок безжалостные, холодные глаза.

Трель звонка нарушила тишину.

Отец вздрогнул.

Я понял, что именно с этим звонком связан наш сегодняшний обед.

Первый заместитель министра оживился.

Лицо Резо засветилось любопытством.

Отец мастерски скрыл свое волнение. Слово бы он и не ждал этого звонка. Даже к дверям не пошел.

«Дверь, наверное, откроет домработница», — подумал я.

Звонок повторился.

Я оказался прав. В столовую вошла домработница и направилась к входной двери.

Только теперь поднялся отец, медленно, как бы нехотя, и дал знак домработнице, что откроет двери сам. Вскоре он вернулся в комнату, сопровождаемый светловолосым, голубоглазым, высоким юношей лет восемнадцати-двадцати.

Стоило взглянуть на него, и сердце у меня екнуло. Он не был похож на нас ни цветом волос, ни голубизной глаз, но сколько общего было у него с нами, особенно с Резо!

Я посмотрел на Резо и снова перевел взгляд на юношу.

Фигурой, губами, носом, лбом, даже ушами он был вылитый Резо.

Отец уловил мой взгляд и негромко произнес:

— Как ты уже догадался, Нодар, этот юноша ваш брат.

Молчание.

Слова отца повисли в воздухе. Видно, и мои братья с одного взгляда поняли, кто этот светловолосый, голубоглазый юноша.



— Его зовут Георгий. Мать назвала его так в мою честь. Юноша стоит и по очереди разглядывает нас.

Я тянусь за сигаретой.

Молодой Георгий Геловани, мой доселе неведомый братец, одет в джинсы фирмы «Вранглер», в красную рубашку и туго перетянут широким ремнем.

Я закурил и горько улыбнулся. И тут же заметил, что у каждого из братьев в руках оказались сигареты. Мы все трое одинаково прореагировали на неожиданную весть.

На шее у юноши висит какой-то талисман на цепочке. Самого талисмана не видно — спрятан под рубашкой, зато цепь, крупная, серебристая, — вся на виду.

— Гоги, познакомься, это твои братья — Вахтанг, Нодар, Резо.

Не двинувшись с места, Гоги наклонил голову, а затем впери́л синий взор в будущего министра. Я заметил, как искорки гнева сверкнули в глазах юноши.

Не требовалось особой интуиции, чтобы понять: его появление наиболее враждебно было встречено именно старшим братом.

— Однако же... Неужели этого нельзя было сделать раньше?

В голосе Резо слышалась скорее обида, нежели удивление.

Отец тем временем в упор смотрел на первого заместителя министра. От глаз взволнованного старика не ускользнула туча, набежавшая на лицо старшего сына.

— Были на то свои причины. Но теперь это не имеет принципиального значения. Не говорил вчера, говорю сегодня.

Отец произнес эти слова, не сводя глаз со старшего сына. Потом полуобернулся и предложил юноше сесть.

— Благодарю, — сказал Гоги и сел, искоса глянув на Вахтанга Геловани.

Первый заместитель министра повернулся к нам спиной и подошел к окну. Он всячески старается принять беззаботный вид и тем самым выразить свое отношение к происходящему.

— Да, но какие могли быть причины? У меня, оказывается, есть третий брат, а я об этом даже и не подозреваю. Кто знает, сколько раз мы сталкивались на улице и проходили мимо.

— Ты юрист и по идее должен бы знать цену бессмысленным разговорам. Теперь твой гнев не имеет ни грана смысла. До сих пор вы были незнакомы, так? Допустим, я был неправ. И что из того? Сегодня я сообщаю вам, что этот юноша — ваш брат. Прошу любить и жаловать. Это уже ваш долг....

— Он носит нашу фамилию? — вновь спросил Резо.

Отец, не ответив, подошел к креслу, уселся и откинулся на спинку.

Резо пристально смотрел на него, ожидая ответа.

— Нет. Мать дала ему свою фамилию. Но теперь, когда вашей матери нет в живых, а мать Гоги скончалась три месяца назад, я решил открыться вам и дать своему сыну его

истинную фамилию («своему сыну» — как неловко произнес он эти слова).

— Я думаю, что это неправильно! — вдруг подав голос первый заместитель министра. Голос его был тих, но тверд. Он даже не повернулся к нам и по-прежнему смотрел в окно, хотя прекрасно отдавал себе отчет в том, какую реакцию вызовут его слова.

Я взглянул на Гоги. Гнев в его глазах сменился отражением.

— Но почему?

Голос отца треснул.

Первый заместитель министра наконец-то соизволил повернуться к нам лицом. Сначала он потянулся за «Кентом», невозмутимо вытащил из пачки сигарету, потом эффектно щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся.

— Да по той же причине, по какой ты не дал ему своей фамилии до сих пор.

— Но тех причин сегодня больше не существует.

— Ты заблуждаешься, отец! — Первый заместитель министра понял, что сейчас необходимо действовать решительно и без промедления. Он направился к моему креслу, взял с широкой его ручки пепельницу и вновь вернулся на прежнее место.

Пепельницу на стол он не поставил, видимо, посчитал, что с пепельницей в руке он выглядит более твердым и внушительным.

— Да, ты глубоко заблуждаешься! Мы не настолько малы, чтобы нас было легко провести. Ты сделал это вовсе не ради нашей матери. Просто тогда твой путь был еще не настолько проторен, чтобы позволить себе такую роскошь. Двадцать лет назад ты с остервенением боролся за заведование кафедрой. Правда, ты был единственный достойный кандидат, но противников у тебя хватало. Ты прекрасно понимал, какой козырь ты дал бы им в руки своим необдуманным шагом. Еще бы на поприще науки бороться с тобой им было непросто!

— Вахтанг! — вскричал отец.

— Я люблю говорить правду в глаза, отец. Ты, пожалуй-ста, не думай, что я тебя виню. Напротив, я приветствую твою тогдашнюю дальновидность. Если бы ты пошел на поводу у своих страстей, твоя жизнь не была бы столь упорядоченной, как сегодня. И это не замедлило бы сказаться на нашей карьере.

— На твоей карьере, если быть точным! — процедил сквозь зубы Резо. — Меня лишь недавно послали прокурором в отдаленный район. А Нодар — физик, и ему вообще наплевать на карьеру.

— Хотя бы и так, согласен, на моей карьере, — с подчеркнутой издевкой произнес последние слова первый заместитель министра. Самообладание, выработанное на заседаниях, не оставляло его даже в самых критических ситуациях. Более того, его бесстрастная, холодная и вызывающая речь легко выводила противника из равновесия.



— Да, да, на моей карьере. — Он невозмутимо вдавил окурок в пепельницу и поставил ее на подоконник. — Хм, чуть не забыл, ты ведь уже дважды ушел с работы из-за своей неумной принципиальности.

— Ах, да, позвольте представить вам вашего старшего брата Вахтанга Геловани, первого заместителя министра, а в недалеком будущем, наверное, и министра, правда, при условии, если его шеф, прикованный к постели неизлечимой болезнью, вовремя отдаст богу душу! — с нескрываемым презрением отчеканил Резо, пытаясь сбить гонор со старшего брата.

Но первый заместитель министра даже бровью не повел. На его полном, краснощеком, неумном, но самодовольном лице мелькнула насмешливая улыбка. Он даже не считал нужным ответить на выпад брата и как ни в чем не бывало продолжил прерванную речь:

— Если история эта получит гласность, то ее последствия неминуемо отразятся на твоей судьбе, отец! Ты, надеюсь, помнишь, что стоишь на пороге своего семидесятилетия. На кафедре у тебя немало недоброжелателей, только и ждущих, когда ты оступишься или когда сдаст твой организм. Благодарение богу, ты человек здоровый и проживешь еще долго. Но посуди сам, каково, если тебе, почтенному профессору, на старости лет пришьют аморалку. Ты, что же, решил дать повод своим врагам позубоскалить? Или ты надеешься на великодушие своих коллег?!


— Вахтанг! — воскликнул побледневший отец. Сколько отчаяния было в его голосе.

— Нечего волноваться, я просто высказал свое мнение. Если оно тебе не по душе, можешь поступать как тебе заблагорассудится. Но предупреждаю, эта история даст всему Тбилиси пищу для сплетен и пересудов. И основательно попортит нам кровь. Представь, даже этому молодому прокурору, пречаснодушно возводящему воздушные замки и стремящемуся изгнать мир от беззаконий. Но больше всех это повредит мне и тебе, отец. Если уж ты махнул рукой на себя, не мешало бы тебе подумать о судьбе своего сына. А этого молодого человека, который, оказывается, является моим братом, уже двадцать лет знают под своей фамилией. Есть ли смысл менять ее? Есть ли смысл возрождать позабытые сплетни? У каждой реки существует свое русло. Стоит ли изменять его, стоит ли возвращать вспять реки?

— Ты — мерзавец!
Я никогда еще не слышал такого отвращения в голосе Резо.

Первый заместитель министра не отреагировал и на этот выкрик. Ни один мускул не дрогнул на его самодовольном лице.

— А ты-то чего молчишь? — набросился Резо на меня.
— А-а-а?
Я не ожидал вопроса и, признаться, растерялся. Да и что я мог сказать...



— Не волнуйтесь, уважаемый Георгий, и вы, уважаемый первый заместитель министра (боже, где я слышал этот голос?). Прошу выслушать меня, и я навсегда освобожусь от неприятностей, связанных с моими родственными отношениями с вами. Я пришел сюда не затем, чтобы набиваться вам в брата, и, тем более, просить фамилию. Все ваши рассуждения о моей фамилии курам на смех. Я просто был удивлен, когда на похороны моей матери пожаловал уважаемый профессор и, представьте себе, даже оставил триста рублей моему дяде на похоронные расходы. В течение двадцати лет он ни разу не вспомнил, что у него есть сын (он говорит спокойно, не сводя глаз с первого заместителя министра), ни разу не подумал дать сыну свою фамилию. Более того, когда я появился на свет, он, оказывается, сказал моей матери — а ты уверена, что ребенок мой? (Отец побагровел, на лбу у него вздулись жилы, словно, он собирался что-то сказать). Не возмущайтесь, уважаемый профессор, не думаю, чтобы вы забыли эти низкие слова, которыми вы, как из ружья, выстрелили в безмерно любящую вас женщину. А ведь вы были вполне уверены в преданности моей матери и прекрасно знали, что я ваш сын. Но тогда вы испугались за себя, о чем доложил уже ваш старший сын. И вот я впервые увидел своего отца спустя двадцать лет — вы совершенно правильно угадали мой возраст (и все-таки, где я мог слышать этот голос?). Через три месяца после смерти моей матери вы даже пригласили меня домой. Из вашего разговора я понял, что вами двигали вполне благородные побуждения. Только никак не могу понять, что подтолкнуло вас к этому, что вызвало в вас эти приятные сдвиги? Может, угрызения совести? Не уверен, потому что для этого у вас было целых двадцать лет времени. Но ни разу в вас даже не шевельнулись подобные чувства. Так что же? Может, то, что на пороге своего семидесятилетия и в ожидании скорого конца вы вдруг вспомнили о боге? А о боге вспоминают из страха, из страха перед собственными грехами. Может, вы пытаетесь искупить свои грехи? Да что гадать, загляните себе в душу, и, может, там вы обнаружите истинную причину вашей нынешней отцовской заботливости. Но мне совершенно безразлично ваше отцовство, и я не нуждаюсь в вашей заботе. Я принял ваше приглашение и явился сюда лишь для того, чтобы лично вернуть пожертвованные вами триста рублей, которые я собирался переслать по почте.

Где я слышал этот голос? В машине? В метро? А может, в кинотеатре до начала или после конца фильма? Где я мог видеть этого голубоглазого, светловолосого юношу, оказавшегося моим братом?

Кажется, в машине, в моей машине, но где? Когда? Когда я возвращался из лаборатории? Или когда ехал на море? И был он один или с друзьями?

Прошло по меньшей мере пять минут с тех пор, как Гогн захлопнул за собой дверь. Но ни один из нас даже не пошевелился. Отец по-прежнему сидел, откинувшись в кресле. Глаза его не мигая смотрели в одну точку. Жилы на лбу еще

больше вздулись. Резо попеременно переводил взгляд с отца на меня. Лишь первый заместитель министра слегка изменил позу и, уставившись в потолок, спокойно курил. Взгляд был так невозмутим, словно ничего не случилось. Мне режут глаза белизна манжет его рубашки и запонки с бриллиантами.

— Резо?

Голос отца показался мне слабым.

— Что, папа?

— Принеси воды, сынок, мне плохо.

— Вы меня не помните? — спрашиваю я и удивляюсь, что разговариваю с братом на «вы».

Мы сидим на круглой скамейке в скверике на углу Плехановского.

— Нет.

— И нигде меня не видели?

— Нигде.

Он отвечает коротко, с холодком, разглядывая при этом прохожих.

Неужели я ошибаюсь? Но это невозможно. Я абсолютно уверен, что где-то видел эти глаза, это лицо. И голос мне знаком.

— Как вы меня нашли? — равнодушно спрашивает он и жадно затягивается.

— Найти сегодня человека в Тбилиси не представляет особого труда.

— И зачем вы искали меня?

— По-моему, это и так ясно.

— Наши родственные отношения не имеют смысла.

— Но почему?

— Я не верю в братство даже тех, кто вместе рос. Тем более когда прошло двадцать лет... Вы мне даже в товарищи не годитесь. Просто-напросто мы не найдем общего языка. Кроме того, я не коммуникабелен, теперь ведь это словечко в моде. Мне трудно сходитья с людьми.

— Вы учитесь?

— Да, на заочном, в политехническом — радиофизический факультет.

— И работаете? — меня злит, что я до сих пор обращаюсь к нему на «вы».

— Да, работаю. На радиостудии оператором по звукозаписи. Это моя первая и, наверное, последняя должность.

— Отчего же последняя?

— Мне нравится операторская работа. Я на студии самый маленький человек, зато абсолютно свободный. У них нет специалиста лучше, чем я. Поэтому со мной цацкаются. Работу я всегда выполняю во-время и качественно, порядка не нарушаю. Боюсь, как бы меня не побранили и тем более не наорали. Я — свободная личность и никому не спущу оскорбления. Я за свою жизнь еще ни на одном собрании не присутствовал. И никто меня не заставляет. На работе я почти не разговариваю. Что ни скажут — делаю. Вот и все. Нет надо мной начальников во всем свете. Да и материально — ничего, не

жалуюсь, беру частные заказы — музыку на магнитную лентку записываю. Платят сносно. Не понравится человек — заказа не приму. Жадным и ненасытным я никогда не был. Зарабатываю ровно столько, чтобы нормально жить.

— Вы не женаты?

— Нет. А вы?

— И я тоже. Да, Гоги, долго мы будем друг другу выкатывать? Хочешь не хочешь, мы все равно братья.

Гоги улыбнулся. И все лицо его вдруг добродушно засветилось.

— Жениться — глупость.

— Но почему же?

— Не успеешь жениться — прощай свобода. Женитьба сама собой подразумевает ребенка, а то и детей. А за детьми требуется уход, потом их надо поставить на ноги. Благополучие семьи вынуждает чего-то добиваться, хотя бы для того, чтобы улучшить материальное положение, увеличить достаток. Вот отсюда и начинаются все беды. Ничего не остается, как льстить кому-то, величать гением любого кретина, если он твой начальник. И притом надо скрепя сердце сносить окрики и унижения. И с самолюбием надо распрощаться навсегда, чтобы не страдали дети. Существовать таким образом я и не желаю, и не смогу. Мне нравится стиль моей жизни. Дружбы я не признаю, а впрочем у меня и нет друзей.

— Чем ты занимаешься после работы?

— Иду домой, чтобы послушать музыку. Заглянет на огонек какая-нибудь девочка...

— И много у тебя этих самых девочек?

— Хватает.

Он засмеялся.

— Чего ты смеешься?

— Да, так... Сигареты у тебя есть?

— Есть. И все-таки почему ты засмеялся?

— Вот уже три недели ко мне одна девочка ходит. Только сейчас я вспомнил, что не знаю ни ее имени, ни фамилии. Наверное, даже не спрашивал. Не было нужды. Да и она, впрочем, тоже.

— А как же ты с ней познакомился?

— У дружка своего встретил.

— А говоришь — нет у тебя друзей.

— Я сказал друзей нет. Дружки-то водятся. А что такое дружок — близкий знакомый, и больше ничего.

— Ну и что же?

— Ну и ничего, все очень просто. Пили коньяк. Вижу, моему дружку со своей девочкой остаться охота. Так я подхватил ее подружку и поволок домой. Вот, собственно, и все.

Я чувствую, как сознание мое постепенно проясняется. Словно я нажал кнопку с обозначением нужного города на справочном автомате железнодорожного вокзала. Вижу, с какой скоростью вращаются перед моими глазами пластинки с надписями, пока наконец не остановятся на интересующем меня месте...

Было уже за полночь. У развилки на Кикеты меня оста-

нови какой-то юнец в очках. Я механически затормозил машину. На юнца я даже не взглянул — просто ждал, когда он сядет в машину. Он распахнул переднюю дверцу и, просунув в кабину ногу, свистнул. От стены отделилось еще трое парней. Они, казалось, были постарше да и пошире в плечах.

— В Коджори не подбросишь? — грубым голосом спросил один из них.

Я заметил, что все они были навеселе.

Не ожидая ответа, он ввалился в машину.

Пока дверца была открыта, в машине горел свет, и я успел разглядеть в зеркальце обладателя прубого голоса. На мгновение сверкнули злые глаза. Хлопнула дверца, и свет в салоне погас. Само собой разумеется, в Тбилиси я собирался ехать кратчайшим путем, через Цхнеты. Но что было делать, я свернул на Коджори.

В машине воцарилась тишина.

Сначала, задумавшись, я не обратил на это никакого внимания. Но потом, когда я опомнился, тишина эта мне почудилась зловещей. Нажав на кнопку, я включил свет.

— Что такое, ребята? Вы, случаем, не заснули? — обернулся я. Вот когда я впервые увидел эти голубые глаза. Он сидел посередине. За моей спиной возвышался худоцавый долговязый парень лет семнадцати-восемнадцати. На прыщавом его лице пробивался редкий пушок. Глаза его были злы. Как и у обладателя грубого голоса, усевшегося в машину последним.

— А ну погаси! Прямо в глаза светит! — резко сказал он. Я сдержался, чтобы не ответить грубостью. И выключил свет.

Машина стремительно приближалась к темному повороту.

Потом я долго не мог простить себе безотчетного страха. Эта натянутая, наполненная ожиданием тишина встревожила меня. Сердце сжалось. Я сидел как на иголках, физически ощущая, что вот-вот моей шеи коснется холодок лезвия.

Неожиданно сзади послышался шум машины. Я сбавил скорость. Еще через мгновение фары машины осветили салон. Это была «Волга». Она быстро нагоняла нас. Я сократил расстояние до пятнадцати метров. Скорость я регулировал так, чтобы «Волга» не смогла нас обогнать. Всю дорогу до Коджори ее фары неотступно следовали за нами.

В Коджори я остановил машину возле магазина. Прямо напротив магазина на длинной скамейке под деревом сидели юноши и пели.

— Счастливо вам, ребята.

Они вывалились из машины все сразу, не сказав ни слова. Лишь голубоглазый заглянул в кабину.

— Большое спасибо. Извините, что заставили вас сделать крюк.

Это был голос Гоги. Голос, который спустя четыре года всплыл в моей памяти.

«Это невозможно! — побледнел Гоги. — Неужели это были вы, невозможно».

«Ты, что же, опять пошел выкать?» — улыбаюсь я, хотя побледневшее лицо Гоги встревожило меня.

«Невозможно! — повторил он и потянулся за ^{загадочной} сигаретой — Так это были вы! Невероятно!».

В этом нет ничего ни невозможного, ни невероятного. Я стараюсь сохранить спокойствие. «В моей машине сидели сотни людей. Чего же удивляться, если и ты в ней оказался разок».

Гоги испытующе смотрит на меня, словно стремясь что-то вычитать в моих глазах. Я невозмутимо протягиваю ему горящую спичку, потом прикуриваю сам. Если что-нибудь делать, совладать с собой проще.

Я закурил и беззаботно откинулся на ребристую спинку скамейки.

Издали со мной кто-то здоровается и направляется прямо к нам.

Никак не могу вспомнить, кто бы это мог быть, но я улыбаюсь и встаю ему навстречу.

— Здравствуй, Нодар, дорогой мой. Где пропадаешь, как живешь?

— Ничего. Все в порядке! — Никак не могу его вспомнить. На вопросы я отвечаю односложно, не вдумываясь ни в то, что он спрашивает, ни в то, что я отвечаю. Я украдкой смотрю на Гоги. Бледность уже исчезла с его лица, но глаза невидяще уставились в одну точку. Чувствую, его что-то тревожит и он всячески старается подавить волнение.

Неожиданно я вспоминаю тишину, воцарившуюся в машине, грозную, пронизанную ожиданием тишину. И мне делается не по себе.

— Ну, будь здоров, Нодар, дорогой ты мой! — откуда-то издали доносится до меня голос знакомого незнакомца.

— Всего доброго! — отвечаю я. Никак не могу вспомнить, кто бы это мог быть. Я возвращаюсь к Гоги и сажусь на скамейку.

«Так это был ты?» — повторяет Гоги.

Ничего не надо было рассказывать. Его глаза, его взгляд уже сказали мне все.

У самого поворота Джаба (так звали сидевшего за мной) должен был приложить нож к моей сонной артерии. Острие ножа пощекочет шею, чтобы я ощутил страх. Затем он прикажет мне остановить машину. А Вова (с прубым голосом) поиграет револьвером у самого лица. «Хочешь остаться в живых — молчи. И марш из машины!» — скажет его надтреснутый голос. Это должно произойти точно у обрыва, на самом темном повороте. Потом меня подведут к краю обрыва и неожиданно ударят по голове стальным прутом. Стану сопротивляться — выстрелят. Если все обойдется без шума, ограничатся еще парой ударов прута. А убедившись, что я уже готов, столкнут в пропасть. За руль сядет Вова.

«Ты не думай, что я оправдываюсь. Меня и того очкарика



96.00359240
1974.11.01.033

запугали и заставили пойти силой. С тех пор я даже близко не подходил к ним».

«Где они теперь?».

«Вова сидит, а Джаба умер. Слишком большую дозу, нял. Его нашли мертвым в лифте одиннадцатипятиэтажного».

«Слишком большую дозу».

— Я убежден, что мы с тобой встречались четыре года назад.

— Возможно, но я тебя не помню. За четыре года стольких встретишь и знакомых, и незнакомых — всех не упомнишь.

— Мы встретились с тобой в Бетании, у Кикетской развилки. Очкарик просигналил мне рукой. Была полночь или что-то вроде того. Я остановил машину, но вас я увидел лишь тогда, когда очкарик распахнул дверцу машины и свистнул. Вас было трое, не считая очкарика. Ты сел назад, посередке. Вы попросили меня отвезти вас в Коджори.

— У кикетской развилки? Четыре года назад? — задумался Гоги.

Я не свожу глаз с его лица, пытаюсь разобраться, врет он или говорит искренне.

— Не помню. В тех местах я бывал редко, а в ресторане «Бетания» вообще не был ни разу. Я и мои дружки — не кутили в традиционном смысле этого слова. Чаще всего мы собираемся в кафе — «Иверия», «Тбилиси». Или в домах. Музыка, немного коньяка, шампанское, девушки. Ничего не поделаешь, такова современная молодежь. Произносить тосты за родных или за девять братьев Херхеулидзе — не наше дело, — с улыбкой закончил он и взглянул на меня.

«Неужели я ошибся?»

— Ну, ну. Ведь и я вроде бы в старичках еще не числюсь. Кое-что и мы в этом понимаем, — улыбаюсь я в ответ, не сводя с него глаз.

— Вам тридцать пять, не так ли?

Гоги спокойно выдержал мой настойчивый взгляд.

— Почти!

— Пятнадцать лет — немалая разница. Мы вряд ли пойдем друг друга. Сейчас все меняется в таком темпе, что через каждые пять лет появляются люди с новой психологией. Я в мои двадцать кажусь пятнадцатилетним совершенно иным.

— Ну, допустим, не совсем так! — Улыбка все еще не сбежала с моих губ.

«Неужели я обознался, неужели ошибся?» — думаю я и продолжаю пристально смотреть ему в глаза. Гоги не уклоняется от моего взгляда. Два добрых, синих глаза простодушно глядят на меня.

И вновь заработал справочный автомат на вокзале. Я вновь нажимаю на кнопку. Воспоминания прокручиваются и складываются, как пластинки с надписями. Наконец автомат останавливается в нужном месте. «В Коджори не подбросишь», — вновь слышу я грубый голос. И вновь сверкнули в зер-

кальце злые глаза. Потом хлопнула дверца, и свет в салоне погас.

Медленно течет время.

Тишина, поразительная тишина.

Задумавшись, я не обратил на нее никакого внимания. Но потом, словно спала пелена, в душу заполз червячок страха. «С каких это пор выпившие так чинно ведут себя в машине? Наверное, еще неопытные, робеют. А может, это вообще их первая операция». Я нажимаю на кнопку и в салоне вспыхивает свет. «Что такое ребята, вы, случаем не заснули?» — как ни в чем не бывало говорю я и оглядываюсь. Оглядываюсь и теперь, четыре года спустя, потом останавливаю кадр. В кинематографе это зовется «стоп-кадром». Я неторопливо и основательно разглядываю картинку. Посередине сидит голубоглазый юноша. Даже сейчас, спустя четыре года, я вижу страх, затаившийся в глубине его глаз.

Это Гогины глаза. Сомневаться не приходится.

«Большое спасибо. Извините, что заставили вас сделать крюк», — сказал, выйдя из машины, голубоглазый и наклонился ко мне.

Теперь я, как на магнитофоне, прокручиваю эту фразу. «Большое спасибо...», «Большое спасибо», «Большое спасибо. Извините, что заставили вас сделать крюк...». Сомневаться не приходится — это был его голос.

— Да, я наверняка обознался, — насильственно улыбаюсь я. — Четыре года — не шутка.

— А, ты опять о том же, — изумленно тянет Гоги.

— Да, я, конечно же, обознался. Просто спутал с кем-то.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы лежим вдвоем на низкой тахте в моей комнате. Цвѣтастое одеяло едва достал мне до груди. Эка лежит навзничь у стены, уткнувшись лицом в мою руку, и спит. На ослепительно белой простыне красиво отчеканено ее литое, загорелое тело. Левая рука покоится на моей груди. Она закрыта одеялом — виднеется лишь кисть с длинными пальцами. На среднем мерцает перстень с александритом. Я лежу на спине и смотрю в потолок. Не знаю как, но я отчетливо вижу нежные Экины пальцы. Просто я их настолько ощущаю, что кажется, даже вижу, хотя по-прежнему смотрю в потолок, боясь пошевелиться. Перстень я купил Эке в Дамаске. И надел ей на палец прямо в аэропорту. Разве можно описать ее радость? На глазах у нее появились слезы. Она ничего не говорила, но вся светилась благодарностью и любовью.

В изголовье тахты стоит низкий шкафчик, и я, не вставая, могу дотянуться рукой до магнитофона.

Музыка звучит настолько тихо, что кажется — ее откуда-то издалека доносит ветерок. Рядом с тахтой на столике стоят бутылка шампанского и два бокала. Бутылка непочата, бокалы — сухи, плитка шоколада не тронута. Лед в фарфо-

ропей миске уже давно растаял. Большая керамическая пепельница полна окурков. Из коробки выглядывают лишь три сигареты.

Эка дышит спокойно. Я давно привык к ритму ее дыхания, даже небольшое его нарушение не сможет от меня укрыться.

Мне захотелось курить.

Не меняя позы, я осторожно шарю рукой по столику. Любое неловкое движение может разбудить Эку. Вот они, сигареты. Теперь осталось нашарить спички.

— Смелее, я не сплю, — слышу я Экин голос.

Одно из двух: или она вообще не спала, или я спутнул ее сон неловким движением. Я высвобождаю из-под Экиной головы свою левую руку и, перегнувшись с тахты, беру спички.

Потом сажусь в постели и пододвигаю пепельницу поближе.

Кроме тахты и низкого шкафчика, в комнате стоят еще письменный стол, шкаф для одежды и полки с книжками. Вот, собственно, и вся обстановка моей однокомнатной квартиры.

— Налей мне немного шампанского, — просит Эка.

Я наливаю шампанское в бокал.

— Лед растаял. Я сейчас принесу.

— Я сама.

Эка встала, сунула ноги в мои ботасы и с фарфоровой миской в руке зашлепала к кухне. Как она легко несет свое загорелое прекрасное тело, при одном виде которого я некогда терял голову. Теперь Эке двадцать семь, но подтянутая, литая ее фигура в пору семнадцатилетней девушке. Ее блестящая кожа отливает бронзой, а нежные голубые жилки придают ей неповторимую женственность. Каждое прикосновение к ней дарило мне прежде невыразимое наслаждение.

А теперь?

Что случилось теперь?

Я невольно вспоминаю ночь, когда Эка впервые пришла ко мне. В комнате горела лишь настольная лампа. Она была повернута к стене, освещая угол комнаты. Эка потушила даже эту единственную лампочку. Комнату заполнил мрак, и я перестал видеть. Сумеречный свет, проникавший в окно, вычертил контуры комнаты, и глаза постепенно свыклись с темнотой. Вокруг было уже не так темно, как показалось вначале.

Эка подошла к постели и отбросила одеяло. Вот когда мне перестали подчиняться нервы. Сердце колотилось с такой силой, что я не на шутку перепугался: а вдруг услышат в соседней комнате.

Эка сняла платье и повесила его на спинку стула. В темноте забелело ее тело. Электрический ток прошил меня. Эка стояла далеко, но мне показалось, что жаркая волна, исходящая от ее тела, обдала мое лицо. Горячая кровь с такой бешеной скоростью понеслась по жилам, что я едва не потерял сознание.

А потом?

А потом я, обезумев, целовал ее губы, шею, грудь.



А потом?

А потом все исчезло. Лишь электрический ток от корней волос и до кончиков пальцев. Пробегал, переполняя меня блаженной истомой.

А потом... Я почувствовал, как наши тела, расплавившись подобно металлу, смешались...

Когда я пришел в себя, Эка дрожала, словно раненая перепелка в грубых ладонях охотника.

Она плакала.

Я стал целовать ее глаза, стремясь поцелуями осушить слезы.

Но Эка плакала по-прежнему сдавленно и беззвучно.

— Ты жалеешь о том, что случилось? — с убитым видом спросил я.

— Что ты, Нодар. Напротив, я плачу от счастья. Я люблю тебя до безумия. Только ради этого дня и стоило жить на свете...

А теперь, куда девалось теперь нетерпеливое волнение, охватывавшее меня в ожидании Эки? Куда ушло то время, когда я до рези в глазах выглядывал в окне Эку, когда я потерпивно ходил взад-вперед по комнате, с бешенством поглядывая на часы? О, как нехотя тащились стрелки часов по циферблату, как лениво тянулось время. Эка никогда не опаздывала, но горячее ожидание начиналось у меня уже за два часа до свидания. И когда, наконец, приближалось время ее прихода, терпение вконец иссякало.

А потом, когда я замечал ее на улице, направляющуюся к моему дому, мне казалось, что сердце останавливается, а жилы, не выдержав напора окаменевшей крови, лопаются. Как мне хочется хотя бы раз испытать теперь то блаженное состояние, которое овладевало мной, когда Эка исчезала в парадном, а я, прильнув к входной двери, прислушивался к стучу каблучков по лестнице. По звуку ее шагов я мог безошибочно определить, на каком этаже и даже на какой ступеньке она находится.

Куда девалось страстное нетерпение, которое заставляло меня настаивать распахивать дверь?! И Эка, не дожидаясь, пока дверь вновь захлопнется, уже повисает на моей шее. А я, поворачивая ключ в двери правой рукой, левой нащупываю пуговицы на ее платье.

И так продолжалось целых четыре года из шести лет нашего знакомства.

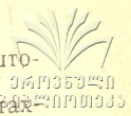
А потом?

А потом, видно, случилось то, что неминуемо должно было случиться. Случилось исподволь, накапливалось незаметно.

Я долго не замечал, как затухает огонь моей страсти, как постепенно сделалась будничной и привычной наша любовь.

Но однажды, с полгода тому назад, когда я, целуя Эку, одновременно думал о серпуховском ускорителе, я понял, что все кончилось.

Эка осторожно приоткрывает дверь. В руках она держит миску с кубиками льда. Поставив миску на стол, она бросает в свой бокал один кубик.



— Тебе налить?

Я отрицательно качаю головой. Дымок от сигареты штопором вкручивается в потолок.

Взяв в руку бокал, Эка присаживается на краешек дивана. Теперь я вижу ее вблизи. Густые каштановые волосы падают ей на плечи.

— Ты меня больше не любишь, Нодар!

Я вздрогнул.

Я чувствую, как от Экиных слов что-то обрывается у меня в груди.

Я знал, что рано или поздно разговор этот неизбежен. И внутренне даже подготовился к этим неприятным минутам.

Но почему же тогда так ошарашивающе подействовали на меня Экины слова? Да просто потому, что я не ожидал их сейчас.

Впрочем....

Впрочем, может быть, это и к лучшему? Может, так и надо — высказать все напрямик и поставить точку?

— А разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя?

Эка повернулась и внимательно посмотрела мне в лицо. Видно по одной лишь интонации она не смогла уловить значения этой фразы и теперь стремилась вычитать на моем лице ее истинный смысл.

Мне делается не по себе от ее взгляда, и я упорно смотрю в потолок.

Эка ставит бокал на стол.

— Ты прав, ты никогда не говорил, что любишь меня. Я только теперь подумала об этом, впервые за шесть лет. До сих пор я не обращала никакого внимания, говорил ты мне эти слова или нет. Не обращала внимания потому, что была уверена в твоей любви. Да, ты не говорил мне: «Я люблю тебя», но разве любви нужны слова. Лучше всяких слов говорили мне об этом твои глаза, твое сотрясающееся от страсти тело, оглушающий стук твоего сердца и твое светящееся нежностью лицо. Я тогда даже не вспоминала о существовании таких слов, потому, что я жила этой любовью и совершенно не ощущала необходимости выражать ее словами.

«Неужели Эка лишь сегодня догадалась, что я охладел к ней? Возможно, она и раньше почувствовала это, но не поверила. Не хотела признаться себе. Как она обрадовалась, когда я привез ей перстень из Дамаска, как она обрадовалась... С тех пор минуло семь месяцев. Эка не из тех женщин, которых соблазняют дорогие безделушки. Она уже тогда чувствовала, что я больше не люблю ее. Она не показывала виду, что червь сомнения уже заполз ей в сердце. Перстень вернул ей веру, подкрепил надежду, и она решила, что нашей любви ничто не грозит».

— Эка!

— «Эка!» — передразнила мою интонацию Эка и горько усмехнулась. — Я ждала такого конца, но не знала, что это произойдет так скоро. Я не готова к такому удару, я люблю тебя, Нодар.

На глазах ее показались слезы. Я привлек ее к себе, крепко обнял и стал целовать в глаза. Но тут же понял, как все

это искусственно. На губах Эки мелькнула язвительная улыбка. Я вздрогнул и растерялся как мальчишка, застигнутый на месте преступления. Чтобы скрыть неловкость, я начал курить сигареты.

— Ничего не поделаешь, Эка. Я никогда не давал тебе никаких обещаний. И разве мог я глупо клясться, что любовь наша будет всегда такой же, как в первый день встречи? Видно, все меняется, теряет новизну, ветшает, но взамен приобретает нечто другое. Разве я не любил тебя? Разве я не люблю тебя и поньне? Может быть, меня влечет к тебе не с такой силой, как прежде, но разве я, как и прежде, не способен на все ради тебя, разве я, как и прежде, не готов пожертвовать собой ради тебя? Видно, и у любви, даже бурно неистовствующей на первых порах, бывают приливы и отливы. Ни одному разумному человеку не придет в голову дать обещание никогда не меняться. И я тоже ни разу не обещал тебе этого.

— Тебе не к лицу душеспасительные правоучения, Нодар. Мне хватит и того, что ты уже сказал. Не надо хотя бы оскорблять меня...

Телефонный звонок.

Эка торопливо прикрывает свою наготу простыней. Аппарат стоит на полу, возле самой тахты.

— Я слушаю... Я слушаю вас, Леван Георгиевич.

Я делаю Эке знаки, чтобы она подала мне часы.

— Да, да... (Запахнувшись простыней, Эка протягивает мне часы). Сейчас половина десятого, ровно через сорок минут я буду у вас.

Я опустил трубку на рычаг и взглянул на Эку.

— Что случилось?

— Одевайся, академик ждет меня.

Я без долгих слов вскакиваю с тахты и быстро одеваюсь. Как кстати позвонил шеф. Все главное сказано, и я благодаря звонку избавлен от ненужных слез и длинных объяснений. Я облегченно вздыхаю, чувствуя, как тяжелый камень упал с моей души.

Машину я остановил у парадного.

— Я скоро вернусь, — говорю я Эке, хотя не совсем уверен в истинности своих слов.

На третий этаж я поднялся чуть ли не бегом и нажал на кнопку звонка.

Грудь моя ходит ходуном. Неужели возраст? А ведь совсем еще недавно я играючи взбегал по лестнице пятиэтажного дома, совершенно не ощущая сердца.

Дверь открыла домработница академика.


— Он ждет вас в кабинете, — крикнула она мне вслед, закрывая дверь.

— Здравствуйте, — войдя в кабинет, поздоровался я.

— Присаживайтесь, — услышал я в ответ.

Он стоял у стола, разбирая какие-то записи.

Я сел в кресло и оглядел комнату так, словно был здесь впервые. Все было по-прежнему. Письменный стол, глубокое, большое кресло, тяжелая мраморная пепельница, а справа



корзина для бумаг, черный старомодный телефонный аппарат, два полукресла для гостей, а между ними круглый журнальный столик, заваленный по обыкновению книгами. На стене — квадратные часы и портреты Ньютона и Эйнштейна, вырезанные из журналов.

На письменном столе особняком расположилась фотокарточка, набитая пластинками пи-мезонов, отснятыми на прошлой неделе в лаборатории. Три дня назад их привез академику наш лаборант. Над картотекой возвышается тяжелый глиняный кубок с авторучками и остро отточенными карандашами. А надо всем нависают длинные книжные полки. Все вроде было по-прежнему, но мне показалось, что здесь произошли неуловимые на первый взгляд изменения. Я еще раз внимательно оглядел все вокруг, переходя от предмета к предмету, от стены к стене. Ничего необычного. Но что же тогда взволновало меня, что непривычного и нового было в кабинете? Ведь даже хозяин, в своем неизменном домашнем одеянии, был как всегда полющен делом и ничего особенного в нем не замечалось.

— Что делается в лаборатории? — спросил академик, не поднимая головы. Он методично сортировал записи: одни откладывал в сторону, другие рвал и, скомкав, бросал в корзину для бумаг.

Я ничего не ответил. Было ясно, что он спросил это из приличия, вовсе не интересуясь моим ответом.

Неожиданно одна из бумаг привлекла его внимание. Он поправил очки и поудобнее уселся в кресло. Нетрудно было догадаться, что запись эта была чем-то важна для него. Он целиком ушел в ее чтение, позабыв о моем существовании. Молчаливо обещало быть долгим. Я потянулся было за сигаретой, но тут же передумал. Мысль об Эке не давала мне покоя.

Эка сидит в машине и терпеливо дожидается моего возвращения.

«И все же, почему мне как-то не по себе здесь?» — снова стали догонять меня давешние мысли. И в какой уже раз я внимательно разглядываю академика.

Леван Гзиришвили высок, сухощав, красив. На вид ему лет шестьдесят, хотя он уже вплотную подошел к семидесятилетнему рубежу. У него седые виски, редкие волосы, умные, живые глаза за квадратными стеклами очков. На мизинце левой руки он носит крупный перстень с печатью. Каждый его жест, манера двигаться, говорить, улыбаться, слушать указывают на глубокую и традиционную интеллигентность, воспитанную, видимо, с молоком матери.

Как он разительно отличается от ученых, которые сначала приобрели научные титулы и звания, и лишь затем — соответствующую им манеры и тип поведения.

Академик сидел неподвижно, не сводя глаз со старого пожелтевшего листочка бумаги. Потом с неожиданной энергией принялся рыться в ящике стола. Наконец он извлек из него фотокарточку, наклеенную на картон, и с видимым сожалением стал ее разглядывать.

Раздался бой часов. Я вздрогнул и невольно взглянул на них. Была половина одиннадцатого. Мои часы отставали ровно на минуту.

Прошло уже полчаса, как я сижу здесь.

Я представил себе Эку, съжившуюся на переднем сиденье автомобиля, и сердце мое тревожно екнуло. По всему видать, я пробуду здесь не меньше часа.

— Сколько вам лет? — неожиданно обратился ко мне академик.

— Тридцать четыре, — с изумлением ответил я, ибо он прекрасно знал возраст каждого своего сотрудника, включая многочисленных лаборантов.

— Почему вы не женитесь?

Фотокарточку он бережно положил на стол, снял очки и повернулся ко мне. Каким же дряхлым он мне показался вдруг. Наверное, оттого, что снял очки. Его глаза напоминали оплывшие, мигающие свечи. Силуясь припомнить, видел ли я его без очков раньше. Наверное, видел, но не обращал внимания. Впрочем, мне ни разу не приходилось так близко заглядывать ему в глаза. Передо мной сидел не энергичный, деятельный ученый, каким я его привык видеть, а надломленный, усталый старик. Неужели все дело в очках? Может, они и придают его лицу молодость и энергичность? Но... Вряд ли очкам что-либо изменить тут.

Я не видел его всего лишь месяц. Как он мог так сильно измениться за этот по сути мизерный срок? А может, с ним стряслось что-то неладное?

— Почему вы не женитесь, я вас спрашиваю? — повторил свой вопрос академик.

— Не знаю, — растерялся я.

— Неужели вы никого не любите?

Я предпочел промолчать. И что я мог ответить? На протяжении десяти лет нашего общения это был первый бестактный вопрос, с которым обратился ко мне мой учитель.

Академик надел очки и вновь взял фотографию в руки.

Мои опасения оправдались — очки не смогли изменить выражения его лица. Он долго смотрел на фотографию, потом улыбнулся и протянул ее мне. Мое кресло стояло далеко от письменного стола. Я встал и быстро подошел к нему.

— Посмотрите, пожалуйста. Нравится?

Я взял у него фотографию и с любопытством посмотрел на нее.

— Впрочем, она вряд ли может вам понравиться. Эта дама не подходит под каноны современной моды.

С карточки на меня смотрело умное лицо молодой женщины. Ее прическа и одежда напоминали мне фотографии моей матери времен ее молодости.

— Может, я допустил ошибку? Может, всего лишь год, прозенный рядом с любимой женщиной, стоил бы всей моей жизни?

Слова академика поразили меня. Я быстро взглянул на Левана Гзиришвили, пытаясь по выражению его лица угадать, что же могло произойти за этот месяц.

ИДТИ
11035920
СПБ-ПП1033

В комнату вошла домработница.

— Уберите, пожалуйста, вот это, а потом можете идти домой! — указал он рукой на корзину для мусора, полную скомканых бумаг.

Я положил фотокарточку на стол и вновь вернулся в свое кресло. Академик, словно забыв о фотографии, даже не взглянул на нее. Забыл он и о своем вопросе, нравится ли мне изображенная на ней женщина. Взгляд его сделался отсутствующим. Он молчал до тех пор, пока домработница не кончила убирать.

— Можете идти. Вы свободны до послезавтра! — негромко произнес академик.

Женщина кивнула и закрыла за собой дверь.

— Как идет строительство лаборатории на Цхра Цкаро?

— Проект разборного тысячетонного магнита уже готов. Ленинградцы берутся за его изготовление.

— Пора распределить работу по группам. Пусть Мамука Торадзе возглавит разработку схемы управления. А вы займитесь камерой Вильсона.

Академик задумался.

— Камеру Вильсона следует поместить в максимально мощное магнитное поле. Иначе нам не удастся измерить импульс частиц высокой энергии.

Говорит он медленно, взвешивая каждое слово. Но взгляд его по-прежнему блуждает где-то далеко от этой комнаты.

— Тысячетонный магнит даст нам возможность измерить импульс частиц сверхвысокой энергии. Вместе с максимальным увеличением мощности магнитного поля надо максимально увеличить объем камер. Тогда количество космических элементов значительно возрастет. Хм! Мы начинали работу в совершенно других условиях, у нас не было даже простейших приборов...

Академик встал и, заложив руки за спину, подошел к окну. Он долго смотрел на улицу, но было ясно, что, целиком погрузившись в воспоминания, он ничего не замечает. Вдруг он негромко засмеялся и покачал головой. Потом, тяжело ступая, вернулся к креслу, поерзал в нем, устраиваясь поудобней, и замер.

В комнате вновь установилась тишина.

Раздался бой часов.

Я знал, что уже двенадцать, но на часы все же посмотрел.

Двенадцать гулких ударов не смогли вывести академика из задумчивости.

Я с изумлением наблюдаю за выражением лица моего учителя. Вот лоб разгладился, и в глазах засверкали веселые искорки. Но вот на лоб набежала туча, и мелкие морщинки пусто избороздили его. Вот нервно искривились губы, и тут же добрая улыбка осветила все лицо. Губы явно не поспевали за сменой мыслей. На них все еще играла улыбка, а в глазах уже мелькал гнев.

О чем он думает?

Я стараюсь уследить за ходом его мыслей.

И как бы воочию вижу, с какой ужасающей быстротой вращается колесо времени в его сознании.

Я вижу, как год сменяется годом, день днем, минута ми-
нутой.

Я почти физически ощущаю тяжелую цепь, звенья которой — успехи и разочарования, радости и горести, трагические переживания и взлеты ликования. И вижу, как горбятся под ее непомерным грузом плечи старого академика.

И вот уже нет стен, нет тяжелых шкафов с пыльными фолантами, нет замкнутого пространства душевной комнаты. Все исчезло, и время потекло вспять. Мимо меня стремительно проносятся знакомые, но позабытые пейзажи, позабытые события, преданные забвению переживания, радости и разочарования.

В саду учится ходить маленький мальчик. Он судорожно уцепился ручонкой за мизинец матери и смешно переваливается, тараща испуганные глазенки. Это его первые шаги и первая победа. И ребенок уже вкусил восторг победы. Мама встревожена — ребенок вспотел и может простудиться. Но ребенок упрямится и не дается в руки. Он хочет ходить. Счастливый отец сидит на скамейке, с изумлением смотрит на малыша и делает знаки жене: ничего, мол, пусть ходит. И подбодренный молчаливой поддержкой отца мальчик ступает тверже.

Высокий, сухощавый молодой человек в очках с изумлением смотрит на показания электроскопа в лаборатории.

«Может, мне показалось? Может, электроскоп был не заряжен?».

Лаборант что-то мямлит, но в конце концов твердым голосом говорит, что электроскоп был заряжен.

Молодой человек недоуменно пожимает плечами.

Электроскоп заряжают снова и тщательно проверяют изоляцию.

Наутро молодой начальник лаборатории наблюдает ту же картину — аккумулятор разряжен, тонкие металлические пластинки опущены книзу.

Лаборант нервно передергивает плечами, словно это его вина, что электроскоп разряжен.

Начальник лаборатории глубоко задумался. Две металлические пластинки, прикрепленные к концу изолированного стержня при зарядке отходят друг от друга и остаются в таком положении до тех пор, пока их не разрядят. В изолированной среде пластинки долго сохраняют свое положение.

Что следует из неожиданной разрядки электроскопа?

Почему его так всполошило необычное поведение простейшего устройства?

Вот над этим и размышляет молодой ученый.

Что-то проникло в электроскоп. Это «что-то», ну, допустим, частица должна обладать огромной энергией, иначе она не сможет преодолеть надежную изоляцию.

Что за энергия одолела столь серьезное сопротивление? Кто знает, может быть, сверхэнергичные и всепроникающие



частицы и в эту вот минуту пронизывают окружающее, в том числе и сухощавую фигуру молодого исследователя?

Молодой физик вспоминает, что другие ученые и раньше отмечали подобное явление, но, почему-то не придав ему никакого значения, предали забвению.

«Что же все-таки происходит?» — этот вопрос не дает покоя молодому начальнику лаборатории.

По его распоряжению электроскоп помещают в герметически закупоренную камеру с нейтральными газами. Изолированность и герметичность камеры никто не подвергает сомнению.

Ассистенты и лаборанты неохотно, но добросовестно исполняют распоряжение начальника. Они не понимают цели этого сомнительного эксперимента: «Подумаешь, разрядился электроскоп! Наверное, он был плохо изолирован. Вот и проникла в него заряженная частица. Только-то и всего».

«Но если допустить, что электроскоп был изолирован надежно? Что тогда?»

Проходит время. И вновь электроскоп разряжен. Пластины, вне всякого сомнения, опущены книзу — это прекрасно видят начальник и научные сотрудники лаборатории.

«Какая-то огромная сила без труда преодолевает герметичность камеры и свободно проникает сквозь ее стенки».

Начальнику лаборатории этот факт говорит о многом. Интуиция экспериментатора подсказывает ему, что он имеет дело с каким-то таинственным явлением.

Да, его сотрудники убедились в том, что некая сила действительно проникла в герметическую камеру, и разрядила пластинки электроскопа. Ну и что из того? Ведь подобные явления наблюдались не раз. Зачем из-за известного уже явления заново бить в колокола? Их устраивают установленные каноны. Если этим явлением никто не заинтересовался раньше, значит, так тому и быть. Их заключения лишены дерзости и романтизма.

«Давайте подойдем трезво к случившемуся факту. Вообще-то ничего необычного не произошло, — говорят они, глубоко убежденные в своей правоте. В их тоне легко угадывается ирония в адрес молодого коллеги. — В герметичную камеру без труда проникает рентгеновское и радиоактивное излучение. А этого вполне достаточно для ионизации нейтральных газов».

«Вы совершенно правы, — мысленно спорит с ними молодой ученый. — Но скажите, откуда берутся эти самые лучи?»

«Это же проще простого! — не задумываясь, парируют ученые мужи. — Наверное, существуют неизвестные нам естественные источники излучений».

Бессонные ночи.

Копание в книгах.

И забытая проблема, преданная архивной пыли, вновь извлекается на солнечный свет.

Да, это странное явление было отмечено еще на заре века. Возникло предположение, что сверхактивные частицы берутся из глубин земли. Но затем оказалось, что они пожалю-

вали к нам с неба. Там, за облачной пеленой на высоте пяти тысяч метров, ионизация камеры происходила в тридцать раз сильнее.

Потом проблема отошла на задний план. Уровень науки и техники того времени не давал возможности ее разрешения. Невиданное развитие физики после первой мировой войны поставило перед учеными другие проблемы.

«Факт остается фактом. Лучи идут из атмосферы. Но ведь из атмосферы могут идти и лучи рентгеновских и радиоактивных элементов?»

Целую неделю не появлялся в лаборатории молодой ученый. Он бесцельно ходил по комнате, валялся в постели, устремив взгляд в потолок. Но мысли его блуждали в неведомом мире, в котором он стремился обнаружить нечто, туманно брезжившее в его сознании.

Ищущий ученый чувствует и понимает существующее, уже открытое и канонизированное, но... еще кое-что сверх того.

«Где начальник лаборатории?» — надрывалась телефонная трубка.

«Начальник лаборатории думает», — иронично отвечали сотрудники.

Да, начальник лаборатории думал. Его интуиция получила таинственный импульс. Но теперь необходимо этот импульс расшифровать.

«Разрядка пластин электроскопа, может, и впрямь является результатом действия рентгеновских и радиоактивных частиц, излучаемых неизвестным естественным источником. Но почему не предположить, что существуют и другие сверхсильные частицы?»

Начальник лаборатории не находит себе места.

«Может ведь быть, что наши тела, наша планета пронизаны частицами фантастической энергии, испускаемыми совершенно не известными нам источниками?»

Молодой физик чувствует, как крепнет и набирает силу первоначальный импульс, сообщенный ему интуицией. Он уже убежден, что существует некий третий источник сверхмощных излучений. Для того, чтобы доказать его существование, необходимо исключить из проблемы рентгеновские и радиоактивные излучения.

Колоссальной энергией заряжается тело молодого физика, ураган самых невероятных и причудливых идей захлестывает его.

А в саду маленький мальчик упорно учится ходить. Мама хочет, чтобы ее сыночек стал врачом, отец — инженером. А мальчик ступает себе по земле и радостно визжит. Отец по-прежнему сидит на голубой скамейке и не сводит глаз с малыша, судорожно цепляющегося за мизинец матери. Я никогда не мог себе представить, что таким вот юношей был когда-то и мой отец.

Начальнику лаборатории не терпится начать эксперимент, и притом сейчас же, сию минуту. Но в жилах молодого фи-

отка течет кровь интеллигента в четвертом поколении. И он громадным напряжением воли усмиряет бушующие в нем страсти. Он неторопливо и тщательно бреется, поправляет в пиджаке галстук, застегивается на все пуговицы.

В лаборатории никто ни разу не видел его неряшливым. Ни разу, каким бы уставшим и издерганным он ни был, не потерял он присущий ему благородства и выдержки. Ни разу не позволил он себе сказать резкого слова своим многочисленным оппонентам, не особенно церемонящимся с молодым начальником.

Теперь необходим эксперимент. Начальник лаборатории ждет не дожидается, когда же удастся исключить из игры излучение радиоактивных и рентгеновских элементов. Он непреклонно убежден в существовании третьего источника. Глубокое внутреннее волнение проглядывает на его побледневшем лице и в дихорадочном блеске глаз. Но движения его по-прежнему неторопливы, отношении к сотрудникам уважительное и добросердечное.

Но его глаза? А дрожь в тонких пальцах? А минутные отключения?

Все прекрасно чувствуют, какой дорогой ценой даются начальнику лаборатории внешнее хладнокровие и выдержка.

Постепенно и неуклонно его вара передается всем сотрудникам лаборатории, его превосходство приобретает совершенно зримые формы. Проблема, выдвинутая им на передний план, исподволь становится весьма реальной и значительной.

Камеру, в которую поместили электроскоп, окружили толстыми свинцовыми пластинами. Толщина их была рассчитана заранее, с тем чтобы она могла противостоять воздействию рентгеновских и радиоактивных излучений.

Всех охватило удивительное волнение. Даже записные скептики и те с неослабным напряжением ожидали результата эксперимента.

Если пластинки электроскопа не разрядятся, тогда вопрос ясен: причина разрядки в рентгеновских и радиоактивных лучах, испускаемых неизвестным естественным источником. В таком случае отпадут все иные предположения, страсти улягутся и по истечении некоторого времени о них даже не станут вспоминать. Ибо рентгеновские и радиоактивные лучи известны давно, а все разговоры о других источниках излучений превратятся в плод досужей фантазии.

Симпатичный, подтянутый начальник лаборатории внешне абсолютно невозмутим. Он по обыкновению учтив, уважителен и внимателен ко всем окружающим. Но иногда он вдруг отключается, и взор его блуждает где-то далеко отсюда.

— Может, вы позавтракаете? — неловко переспрашивает лаборант, ибо на первый свой вопрос ответа он так и не дождался.

— Позавтракать, говорите? А который час?

И вот он уже на земле.

Все молча завтракают.

А если и говорят, то почему-то шепотом.

«А вдруг пластинки электроскопа и вправду разрядятся?» — не выходит из головы настырная мысль.

Что тогда?

Они прекрасно знают, что будет тогда. Они окажутся перед лицом совершенно неизвестного явления. Само собой разумеется, до поры до времени никто не будет знать природы и сущности этого явления. Подтвердится лишь факт его существования.

Но когда явление реально, уже можно думать над расшифровкой его сущности.

Для эксперимента было вполне достаточно десяти часов, но начальник увеличил его время до тридцати.

На протяжении этих тридцати часов никто не покидал лаборатории. Сидели и ждали, что произойдет. И руководитель, и его сотрудники были молоды. До сих пор их научная жизнь шла по обычному руслу, и ни одна серьезная проблема еще даже не брезжила перед ними. Лишь теперь почувствовали они, что стоят на пороге значительнейшего события своей жизни. За что бы они ни брались, все валилось у них из рук, ибо одна-единственная мысль целиком поглотила их существо: «А что если пластинки электроскопа действительно разрядились?».

Они слонялись по мрачным коридорам лаборатории, а в комнаты входили на цыпочках. За все время эксперимента не было сказано громкого слова.

Последний час до предела усугубил напряжение. Все как по команде устались на стрелки часов, но время словно бы остановилось. Тишина стала физически ощутимой.

Потом уже никто из них не мог вспомнить, как пролетели последние пять минут, никто не мог восстановить в сознании, что чувствовали, о чем думали они, вскрывая свинцовую камеру.

Пластинки электроскопа были разряжены.

Нет, это не обман зрения — тоненькие пластинки электроскопа опущены книзу.

Трудно сказать, что пережили они в это мгновение, да и никто не пытался над этим задуматься...

— А теперь отдохнем! — сказал начальник лаборатории и пошел к выходу.

Два дня не выходил он из дому. Буря сменилась полным штилем, и он проспал восемнадцать часов кряду.

Молодому экспериментатору было ясно, что эти сверхмощные, всепроникающие лучи шли из таинственных глубин космоса. По сравнению с масштабами нашей планеты, они обладали громадной, почти невероятной, фантастической энергией. Неизвестный космический луч, а может, частица (он впервые назвал его «космическим»), без особых усилий преодолел толстую свинцовую преграду и разрядил пластинки электроскопа.

Какова природа этих космических лучей? И как их частицы входят в нашу атмосферу — в первичном или вторичном виде? А может, эти элементы совершенно неизвестны науке? Может, их первичный вид и является основой материи?

Бой часов донесся до меня откуда-то издали. Подготовка первого. А мне казалось, что это последний удар двенадцати. Четыре стены замкнули пространство комнаты.

— Не хотите ли кушать? — неожиданно спросил меня академик.

— Нет, спасибо, я уже поужинал.

— Немного коньяку?

Леван Гзиришвили медленно поднялся, подошел к шкафу-чику, висевшему среди книжных полок, и достал бутылку коньяка и две рюмки.

— Откройте, пожалуйста! — тихо попросил он и уселся в кресло.

Я быстро откупорил бутылку и разлил коньяк в рюмки. Старый академик взял рюмку и чуть пригубил ее. Я последовал его примеру.

— Вы когда-нибудь задумывались, кто вы такой? — спрашивает учитель.

Я не знаю, как ответить на этот странный вопрос, и молча смотрю на него.

Видно, он и не ждал ответа. Скорее всего, он сам же собирался ответить на свой вопрос.

— Для милиции вы гражданин Нодар Георгиевич Геловани. Для меня — сотрудник, талантливый ученый, доктор физико-математических наук, экспериментатор с неплохим чутьем; для соседей — холодноватый, но воспитанный, корректный молодой человек; для автобусного кондуктора — пассажир; для врача — пациент; но сами-то вы знаете, кто вы такой? Что вы из себя представляете, чего хотите, к чему стремитесь и какой ценой?

Я с изумлением слушаю старого академика. Я никогда еще не видел его в таком возбуждении. С неожиданной горячностью он наполнил мою рюмку, взял свою и поднес к губам.

— Вы пока еще молоды, деятельны и живете сообразно с чувствами. Здоровья и энергии у вас через край. Вы полны надежд на будущее и не отдаете себе отчета в сделанном. Пора подведения итогов у вас впереди. К тому же вы печальный и скрытный человек. Да, я часто замечал, что тайная печаль точит ваше сердце. И это не просто печаль человека, разочарованного несбывшимися надеждами. Я знаю, что тайны человеческой души занимают вас больше, нежели поведение тяжелых протонов и мезонов. Допускаю, что мне так только кажется, возможно, я и ошибаюсь... Пейте же.

Я поднес рюмку к губам, но пить не стал и снова поставил ее на стол. Страшное волнение овладело мной. Я понял — академика что-то терзает, ему что-то хочется сказать.

«Почему же тогда он ходит вокруг да около?»

«Почему он позвал именно меня? Неужели он считает меня единственным человеком, перед которым можно исповедаться?»

«Исповедаться?» — это слово заставило меня вздрогнуть.

Только теперь я стал понимать, что обеспокоило меня вначале. В кабинете моего учителя все было по-прежнему, все

стояло на прежних местах, но что-то незримое, незаметное подволь сообщало о своем присутствии.

Только теперь, в эту минуту, я осознал, что это в кабинете старого академика поселилась смерть.

Я бессознательно потянулся к рюмке и осушил ее.

— А я уже завершил свой жизненный круг. И завершил неважно. Ничего значительного я так и не сделал.

Пауза.

Я мну в кармане сигарету, но достать все же не решаюсь.

— Курите! — угадал мое желание Леван Гзиришвили.

Я закуриваю. И затачиваюсь с такой жадностью, словно только что вынырнул из-под воды и вдохнул живительный воздух.

— Что такое жизнь и для чего живет на свете человек? Может, стоило провести ее в объятиях любимой женщины? Но меня влекла к себе истина. Не пожалеешь ни пятидесяти лет неустанного труда, ни несложившейся семьи, ни вечного невнимания к собственной персоне, если эту адскую, полную боли борьбу увенчает миг победы, миг постижения непостижимого, созерцания невидимого, разрешения неразрешимого! Видно, в запасе у природы немного подобных мгновений, да и то для избранных. Напрасной была моя научная деятельность, зря я выхолостил себя. И радость, которую я вкусил от ложной победы, была пустой, а потом... А потом пришли горечь похмелья и разочарование.

Академик взял со стола старую фотографию и внимательно стал ее разглядывать.

— Вы пока еще молоды и вам не понять, что значит несбывшаяся надежда. Тридцать четыре года...

— Но, Леван Георгиевич... Если вы говорите такое, что же тогда остается сказать другим. Вы — ученый с мировым именем, ваш научный авторитет непререкаем...

— В глазах моих близких и доброжелателей, дорогой Нодар. — Он нехотя положил фотографию на стол. — Но я-то, я-то ведь отдаю себе отчет в том, кто я есть и что из себя представляю.

— Лично для меня и мне подобных вы всегда были образцом ученого и человека. Я убежден, что ваши исследования оставят заметный след в мировой науке.

— Вы хотите, наверное, сказать «ошибочные исследования», принесшие мне ложную славу, не так ли?

Академик горько усмехнулся и, заметив, что я стяхиваю пепел в ладонь, подал мне пепельницу. Потом отошел к окну и прижался лбом к стеклу.

— Иногда ошибка играет большую роль в установлении истины. Ведь нередко за ошибками и скрывается истина.

— Это говорится лишь для самоуспокоения, милый юноша! Каждая значительная проблема схожа с неприступной крепостью, с неприступной и, что гораздо важнее, незримой... К этой крепости сбегается множество дорог, но лишь одна из них ведет к ней. Невелика мудрость ступить на дорогу, которая никогда не приведет тебя к крепости.

Академик отвернулся от окна и, скрестив на груди руки, встал посреди комнаты.

— Вы, пожалуйста, не думайте, что целью моей жизни был лавровый венок ученого с мировым именем. Меня не тревожит и то, что в результате полувекowego служения науке даже не попал в ряды третьестепенных ученых. Нет. Я сожалею лишь о том, что судьба не даровала мне мгновения великой победы, мгновения постижения истины. А я готов был жизнью пожертвовать ради подобного мгновения... Тут нельзя рассчитывать на удачу. Лишь большим ученым под силу одолеть этот тернистый путь.

— Но вы же... — начал было я, но, заметив жест учителя, отсекаю.

— Я часто подходил к Рубикону, но перейти его не хватило духу. А тот, кто не переходил Рубикон, кто не вкусил мгновения великого открытия, никогда не постигнет красоты большой жизни, никогда не ощутит своего человеческого величия. А значит, не сможет даже представить безграничные возможности человеческого духа. И чего стоит по сравнению с этим мгновением повседневная радость бытия? Суета, лишь суета сует! И как счастливы люди, переживания, радость и наслаждения которых измеряются великим мигом покупки автомобиля или мебели...

Пауза.

Я снова тянусь за сигаретой.

Бой часов. Уже час ночи. А Эка ждет в машине.. Старый академик без сил опускается в кресло.

— Да, я так и не смог перейти мой Рубикон.

Он говорит это тихо, без прежнего возбуждения.

— В мое время многое было неизвестным. Многое из того, что сегодня относится к разряду установленных и общепризнанных истин. В те времена, когда мы устанавливали спектр масс, он имел волновой характер и представлял собой единство пиков и впадин. На этой кривой, кроме электронного, должны были быть еще два пика — мезонный и протонный. Какое же было наше изумление и радость, когда мы стали свидетелями, совершенно иной картины: между ними вдруг появились пики. Что это были за пики? Откуда они взялись? Вы даже представить себе не можете, какие чувства обуревали нас (голос академика окреп, и потухшие было глаза вновь вспыхнули за стеклами очков). Мы стояли в преддверии чуда. Может... Может... Да, да, мы, скажу вам по совести, боялись даже высказать вслух свои предположения. Вот именно, боялись. Во всяком случае, я. Может, эти пики были графическим изображением совершенно новых, доселе не известных нам частиц в космических лучах?

Пауза.

— Сколько бессонных ночей, месяцев, лет! Какой подъем и тут же сомнения, сомнения, сомнения! Для меня и моих сотрудников земная жизнь начисто перестала существовать. Мы находились на грани великого открытия, мы первыми обнаружили следы неизвестных обитателей космоса, однако полученные нами пики спектральной кривой оказались всего лишь миражем. Ветер открытия повеял из Японии и США. Нас ввели в заблуждение пи-мезоны. Этот мираж создали именно пи-мезоны, помешавшие нам обнаружить целое их семейство. Мы

первыми заметили это явление, мы первыми почувствовали их существование, но другие обнаружили их и притом совершенно новыми методами. Наша же кривая всего лишь подтвердила их открытие.

— Но зато вы первыми напали на след мезонов...

— «Первыми», — горько усмехнулся академик.

Пауза.

И еще одна сигарета.

И еще бой часов.

Передо мной возникает лицо Эки, вконец измученной ожиданием.

Но я не тороплюсь уходить. Я все никак не могу понять, куда клонится наша беседа, почему вдруг разоткровенничался со мной старый ученый.

— Было бы самообманом сваливать все на удачу. Мне, как и любому смертному, было трудно посмотреть правде в глаза. Но факт остается фактом — для того чтобы довести дело до конца, у меня не хватило ни сил, ни таланта, ни умения. Открытие элементарных частиц явно оказалось не по плечу человеку с моим талантом и знаниями... Я пожертвовал работе своей личной жизнью, и теперь, когда я собираюсь покидать этот мир, руки мои пусты...

Томительное молчание.

И снова короткий горький смешок.

— Вам, наверное, не раз приходилось наблюдать футбольный матч, когда одна из команд выигрывает с разгромным счетом, а до конца встречи остается несколько минут. Для проигрывающих не существует никакого шанса сравнять счет, да и выигрывающая команда уже не стремится увеличивать его. Обе команды с нетерпением ждут финального свистка — в таких случаях обычно говорят, что матч доигрывается. Я вот тоже похож на проигравших: никаких иллюзий отыграться у меня уже нет, и я с нетерпением дожидаюсь финального свистка.

— Но, Леван Георгиевич...

— Если вы собираетесь подбодрить либо успокоить меня, не трудитесь понапрасну. Я не из тех, кого можно подбадривать таким манером.

Пауза.

— Вот это (он взял со стола пухлую папку) отвезите в лабораторию. Я ознакомился со всеми фотокадрами. Все мои соображения и заключения тоже здесь. Бог любит троицу. Давайте выпьем еще по одной.

Он до краев наполнил мою рюмку.

— Плохо, если у вас нет возлюбленной. Лишь настоящая, большая любовь может сравниться с теми мгновениями взлета, о которых я вам здесь толковал. Да сопутствует вам удача!

Пить не хотелось, но я счел невежливым отказать и выпил до конца.

Учитель проводил меня до дверей.

— С богом! — открыл он дверь и протянул мне руку.

Я вздрогнул. В глазах его мне почудился призрак смерти.

Я быстро сбежал по лестнице и вышел на улицу. Прохладный ветерок освежил меня. Эки в машине не оказалось, а я в испуге оглянулся вокруг. Но тут же успокоился: Эка в полном одиночестве сидела на скамейке в скверике.

— Извини, пожалуйста, за опоздание.

— Ничего страшного. Что-нибудь случилось?

— Еще как случилось. Садись!

— И все же? — Эка по обыкновению мягко прикрыла дверцу.

— Никак ты не научишься закрывать! — Я перегнулся к дверце и с силой захлопнул ее.

Я включил зажигание и, перед тем как отъехать, еще раз посмотрел на окна своего учителя. В кабинете по-прежнему горел свет.

«...Может, он за мной наблюдает», — подумал я и посмотрел глазами его силуэт.

— Ты, наконец, скажешь, что случилось?

— погоди минутку, пожалуйста.

Я медленно тронул машину с места. Проехав метров десять, я повернул обратно и поставил машину в тени платана напротив дома академика. Увидеть меня сверху было невозможно, зато мне Прекрасно были видны окна кабинета.

— Нодар, ты чем-то встревожен. Ответь мне, что случилось?

— Леван Гвиришвили сегодня покончит с собой.

— Что за дикие шутки. Нодар?

— Увы, мне вовсе не до шуток.

— Ты хоть понимаешь, что говоришь? — с подозрением посмотрела на меня Эка, и в голосе ее послышался страх.

— К сожалению, понимаю.

— Он сам тебе сказал?

— Нет, я догадался!

Я почувствовал, что Эка немного успокоилась.

— Тебе, наверное, померещилось.

— Кто знает, может, и померещилось.

— Да, да, наверняка померещилось, — с облегчением вздохнула Эка.

— И все же, как у тебя возникло такое жуткое предположение? — спросила она спустя некоторое время.

— Не знаю, Эка, может, я и не прав, но ничего не могу с собой поделать. Я почти уверен, что он покончит самоубийством.

Эка смотрит на меня с нескрываемым испугом. Она безуспешно пытается вычитать в моих глазах, что же могло произойти за эти три часа там, у академика. Вопросов она больше не задает, понимая, что вразумительного ответа от меня не получить.

Гулко раздаются редкие шаги случайных прохожих. Откуда-то доносится слабый звук музыки. Окна в домах распахнуты настежь, но свет почти нигде не горит. Неожиданно возле нас остановилось такси. Из машины вышли парень с девушкой. Девушка мгновенно растворилась в темноте парадного, а парень, протянув деньги водителю, нетерпеливо ждал сдачи. Шофер долго возился с мелочью. Наверху, на втором

этаже засветились два окна. Видно, девушка включила свет в своей комнате. Наконец шофер отсчитал сдачи, и парень тоже исчез в подъезде. Таксист включил фары, и машина на полной скорости сорвалась с места. Скрежет тормозов на повороте раздражающе отозвался в ушах.

Вскоре в освещенном окне появился парень с сигаретой. Затянувшись в последний раз, он щелчком выбросил окурок на улицу и вернулся в комнату. Через некоторое время в окнах погас свет.

— Нодар, твое поведение мне не понятно. Если ты шутишь, то какие тут могут быть шутки. Если же ты действительно заметил, что человек задумал недоброе, почему ты медлишь? Может, еще не поздно что-нибудь сделать?

Я, не говоря ни слова, смотрю вверх. Свет по-прежнему горит. Что он делает? Может, пишет завещание? А может, мне и впрямь все померещилось?

«Нет, мне не могло показаться, я чувствовал, как по комнате ходит смерть. Когда я, прощаясь, заглянул ему в глаза, там таилась смерть».

— Не понимаю, чего ты ждешь? Долго мы так будем стоять и хлопать ушами, пока человек не сотворит с собой чего-нибудь ужасного?

— Нам не дано оценить мудрости его намерения!

— Пусть его намерение мудро, но, может, нам все же по силам спасти ему жизнь? Может, нам удастся отговорить его, если это и вправду не плод твоей фантазии?!

Я уже не в состоянии слушать Эку. Нервы напряжены до предела.

— Нодар, Нодар, свет погас! — дрожащим голосом шепчет Эка.

Я взглянул вверх. Огня кабинета уже не светятся. Сердце мое сжалось, и холодная испарина выступила на лбу. Как страшно ожидание неизбежного, словно тяжелый камень пригвоздил тебя к земле. Жилы на висках вздулись, и кровь толчками прокладывает себе путь.

Тишину ночи спугнул глухой звук выстрела.

— Нодар! — вскричала Эка и, дрожка всем телом, прижалась к моей груди.

— Все кончено! — шепчу я и невольно смотрю на часы. Ровно два часа.

— Уедем отсюда, Нодар, мне страшно, слышишь, мне страшно.

Я высвободил руку из ее судорожных объятий и осторожно включил зажигание.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Всю ночь я не сомкнул глаз.

Самоубийство старого академика по-настоящему ошеломило меня лишь после глухого звука выстрела. Сидя в машине в ожидании выстрела, я чувствовал себя гораздо спокойней. Правда, после того, как погас свет в окнах кабинета, жилы на

лбу и на висках у меня вздулись и кровь, стаяя, понеслась по ним. И сейчас еще в ушах отдается тот ужасающий звук. Может, мне почудилось? Никогда не предполагал, что кровь может, стаяя, нестись по жилам. Наверное, слух мой настолько обострен и все чувства были настолько напряжены, что я без сомнения ощутил бы любой сигнал, не могущий быть зафиксированным даже самым чувствительным прибором.

Я лежу с закрытыми глазами, прикидываясь спящим. Я не двигаюсь, но отчетливо чувствую, как мечется душа в теле. Содрогается и рвется, словно ища выхода, и, не обнаружив его, бьется в отчаянии о стены.

— Что с тобой, Нодар?! — слышу я дрожащий голос Эки.

Я упорно притворяюсь спящим и, не двигаясь, еще крепче сжимаю веки. Как она догадалась, что творится в недрах моего тела? Может, и у нее сверх меры обострились все чувства, и от них не укрылась моя мятущаяся в отчаянии душа?

Может быть, мое волнение в виде импульсов и волн передается в ее тело?

Боже мой, как много еще неизученного и неустановленного в мире. Скольких тайн нашего тела и нашей души мы не знаем. Сколько еще свойств и сил нашего мозга и организма, наших нервов и инстинктов не познаны нами. Они напоминают о себе лишь тогда, когда невыразимая боль внезапно обрушивается на нас. Лишь много позже осознаем мы, что мозг наш был начисто отключен в эти мгновения. Лишь задним числом осознаем мы, как в минуты смертельной опасности неведомые силы, таящиеся внутри нас, управляли нашими действиями, удесятерили энергию и ускоряли темп принятия решения.

Мне никогда не забыть, как нас, десяти-одиннадцатилетних мальчишек, тайком забравшихся в виноградник, преследовал сторож. Он внезапно вырос над нами и пальнул из ружья. Точнее, сначала послышалась пальба, и лишь затем раздался крик: «Хайт, сукины дети!». Я услышал эти слова уже после, перелетев через колючую проволоку ограды.

Потом я часто ходил на то место и с изумлением разглядывал колючую проволоку и острые колья за кустами черники. Мне, признаться, и самому верилось с грудом, что удалось одолеть такую высоченную ограду. Я несколько раз порывался рассказать отцу и братьям, как одним духом перемахнул двухметровое колючее ограждение, но, боясь быть поднятым на смех, промолчал.

Кто знает, какие поразительные, невероятные и непредставимые свойства дремлют в человеке. Мы даже не ощущаем собственных возможностей. А об овладении и управлении ими и говорить не приходится. Все эти огромные силы, таящиеся в человеческом организме, используются с тем же успехом, как самолет при первобытном строе.

Но настанет время, и человек заглянет в самые сокровенные тайники своей души. Настанет время, и человек научится в совершенстве управлять сложнейшим механизмом, именуемым его организмом.

— Может, дать тебе воды? Ответь мне, пожалуйста. Я ведь знаю, что ты не спишь.

Я не откликаюсь.

Я ведь
0619359210
30220101033

Я подвез Эку к ее дому, остановил машину, ожидая, когда она выйдет.

Пауза.

Облокотившись на баранку, я смотрю в ветровое стекло. Эка не сводит с меня глаз.

— Тебя нельзя оставлять одного.

Я закуриваю.

— Ты много куришь, Нодар. Тебе плохо. Ты даже сам не понимаешь, насколько тебе плохо. Тебя ни в коем случае нельзя оставлять одного. Я еду к тебе.

— Не надо. Иди поспи, успокойся. Я напрасно впутал тебя в это дело. Ну и натерпелась же ты. Со мной ничего не случится. Пойду и засну.

— Нет, ты не сможешь заснуть. Тебе только кажется, что ты спокоен. Дома, оставшись в одиночестве, ты не сможешь найти себе места. Только потом ты осознаешь, что произошло. (Пауза). Неужели ты быль бессилён что-нибудь сделать? Неужели ты не мог успокоить, обласкать...

— Я уже сказал тебе, не нам судить его. Уходи.

— Я не уйду, Нодар. Тебе нельзя быть одному. Я пойду к тебе. Все равно мне не удастся ни заснуть, ни успокоиться. Я боюсь, Нодар, и хочу быть рядом с тобой.

— Ну, а что на это скажут твои?

— Мои? — горько усмехнулась Эка. — Я для них давно...

Я резко рванул машину с места, не желая услышать конца фразы. Впрочем, Эка и не собиралась ее договаривать.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Утро выдалось пасмурное. Но жара не убывала, в городе — невыносимая духота.

Целый день я лежу и жду Эку.

Я предложил следовательно стул и вышел на кухню.

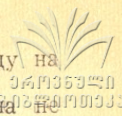
— Разрешите закурить? — вдогонку мне спрашивает она.

— Пожалуйста.

Сразу начинает с сигареты. Значит, волнуется. Нельзя сказать, чтобы он был очень уж молод, во всяком случае, постарше меня. Но, видно, в его практике пока еще не встречалось такого серьезного и ответственного дела.

Страшно парит. Из окна кухни виднеется платан. Впрочем, «виднеется» не то слово. Его ветви почти касаются окна кухни. Листья даже не шелохнутся. Семь часов вечера. Обычно в это время бывает попрохладней.

Из холодильника я вынул бутылку шампанского, персики и кубики льда. Я замечаю, что следовательно, не обнаружив пепельницы, растерянно озирается по сторонам, не зная куда



страхнуть пепел. Я вспомнил, что Эка вынесла пепельницу на кухню.

Я вновь возвращаюсь на кухню. Эка в ванной. Она хотела мешать нашей беседе. Стоило прозвенеть звонку, как Эка, прихватив постирать мои рубашки, тут же направилась в ванную.

— Спасибо! — с вежливой улыбкой говорит следователь и, поглядывая, как я открываю шампанское, страхивает пепел в пепельницу.

На его лице мелькнула одобрительная улыбка, когда он увидел, как ловко и бесшумно я выгащил пробку из горлышка. Кинув в бокалы льда, я разлил шампанское.

— Угощайтесь, — говорю я и чокаюсь.

Следователь неторопливо взял бокал и, едва пригубив, поставил его на место.

«Вахтанг» — внезапно вспомнил я его имя. А вот с фамилией оказалось попрудней. Когда он позвонил по телефону часа три тому назад и назвался, я пропустил его имя и фамилию мимо ушей. Лишь положив трубку, я спохватился, что не запомнил, выражаясь его же языком, анкетных данных. И вот теперь его имя неожиданно всплыло в памяти.

Пауза.

Я потянулся за сигаретой.

Следователь вновь отпил шампанского и обвел комнату взглядом. Наверное, он полагает, что обстановка моей квартиры поможет ему создать определенное впечатление о моем характере, вкусах, о моей личности, наконец. Как-никак, в научных кругах у меня репутация перспективного и серьезного молодого ученого.

Да и докторскую я защитил добрых два года назад. Для науки это ничего не значит, а вот для следователя уже кое-что. Он наверняка успел узнать, что я был самым любимым учеником академика и что в Академии я считался его неофициальным преемником на посту директора Института физики элементарных частиц.

Следователь спокойно оглядел всю комнату, задержав взгляд на нижнем шкафу и полках.

Вдруг у меня возникло желание извиниться перед следователем за ничем не примечательную обстановку моей комнаты, не давшую никакой пищи его профессиональной фантазии.

Завершив досмотр, он вернулся к созерцанию фотоэтюда на стене, вырезанного невесть из какого журнала. Еще минутой назад он без всякого интереса скользнул по нему взглядом. Видно, с профессиональной точки зрения этюд этот действительно не представлял для него какой-либо ценности, но по-человечески ему весьма понравился. Не стану скрывать, гранданин следователь, этюд и мне очень нравится. Иначе, с какой бы стати я стал вырезать его из журнала и тем более вешать на стену. Теперь вот и я вместе со следователем с нескрываемым удовольствием смотрю на фотоэтюд. Отличный кадр. На переднем плане группа старух с печальными глазами. Увядшие их лица похожи на древесные грибы, развешенные для сушки. А за ними беззаботно шагает светловолосая девуш-

ка. Виднеются лишь ее шея и голова. Явственно ощущаешь, как треплет ветерок ее прекрасные золотистые волосы. Лицо ее светится любовью. Она несомненно смотрит на своего любимого. Юноши в кадре нет, но по взгляду девушки легко догадаться, что он находится где-то поблизости, совсем рядом, и с сияющими глазами направляется навстречу своей любимой.

Фигуры девушки не видно. Но одна-единственная, мастерски схваченная деталь дает почувствовать пластику и невесомость молодого тела, скрытого за спинами дряхлых старух: длинная, изящно согнутая в колене нога, виднеющаяся в просвете между черных платьев.

Следователь уже основательно принялся за шампааское. Видно, оно пришлось по вкусу, а может, на него подействовал взгляд светловолосой юной красавицы? Так или иначе, бокал он опорожнил.

Я тут же наполнил его снова и добавил льда.

Он никак не может подступиться к разговору. Наверное, не находит естественного начала. То, что он придумал заранее, до прихода сюда, после встречи со мной и осмотра комнаты показалось ему неуместным. Я посмотрел на него открыто и пристально. Выглядит он вполне сносно. Чуть выше среднего роста, заметное брюшко. «Лет сорок, не меньше», — уточняю я про себя. Но лицо его на вид гораздо моложе. Вот почему поначалу я счел его своим ровесником или немногим старше себя. Брюшко помогло мне уточнить его истинный возраст. Впрочем, какое мне дело до его возраста. Можно подумать, что это имеет какое-нибудь значение.

— В четыре часа утра мы допросили домработницу академика Гзиришвили, — наконец начал следователь.

Я понял, что, отбросив всякие вступления, он сразу взял быка за рога.

— Вы присутствовали при его разговоре с домработницей, когда он опустил ее на два дня?

— Да, я был свидетелем их разговора.

— Вы случайно не помните, в котором часу это было?

— Не помню, кажется часов в одиннадцать.

— Будет неплохо, если вы вспомните полочней.

— Это имеет какое-либо принципиальное значение?

— Возможно, что никакого. Просто в нашем деле нужна точность. Итак... (сигарета), домработница утверждает, что оставила вас наедине с академиком. Прошу припомнить, в котором часу вы покинули его квартиру? Вот здесь уже точность имеет большое значение.

— Извольте. Я попрощался с академиком в пятнадцать минут второго. А выстрел прозвучал ровно в два часа.

— А вам откуда это известно? — изумился следователь, хотя и попытался изобразить равнодушие, словно ответ на этот вопрос совершенно не занимал его.

— Но сначала я сам хочу задать вам один вопрос, если это, конечно, не противоречит процедуре допроса? — последние слова, я произнес с легкой иронией.

— Прошу вас.

— Откуда милиции стало известно о самоубийстве демика?

— Кто-то позвонил, но не назваля.

— И что же он вам сказал?

— Что академик Леван Гзиришвили покончил с собой.

— В котором часу это случилось?

— Ровно в два часа.

— То-то и сно! — воскликнул я с волнением в голосе.

— Прошу прощения, но я не усматриваю в этом причины для волнения.

— Может быть, вы и правы, но меня очень взволновал один факт. Мое предположение подтвердилось. Не знаю, как для вас, а для меня сно имеет важное психологическое значение.

— Как вам, должно быть, известно, для следствия все представляет большой интерес.

— Я окончательно убедился в том, что в милицию за мгновение до смерти позвонил сам академик.

— Сам? — изумился следователь. — Вполне возможно. Пауза.

Наши руки одновременно потянулись к сигаретам.

— А теперь я тоже задам вам один вопрос, только, ради бога, не считайте, что я в чем-то вас подозреваю...

— Слушаю вас.

— Каким образом вы узнали, что Леван Гзиришвили погиб точно в два часа?

— Мне не придется долго искать ответа на этот вопрос. Как я уже говорил, с академиком Гзиришвили я распрощался в пятнадцать, а может, и в шестнадцать минут второго. Потом я вышел на улицу и сел в свою машину.

— В машине вы были один?

— Это имеет какое-нибудь значение?

— Решающего — нет.

— Но какое-то, видно, все же имеет...

Следователь наверняка чувствует иронию, нет-нет да и проскальзывающую в моем тоне, но не подает виду.

— Повторяю, решающего — нет, это все канцелярские мелочи... Если вы не желаете, то можете не говорить, кто был с вами в машине.

— Чтобы все было ясно с самого начала, скажу вам, что в машине со мной находилась девушка, которую я люблю. И между прочим, пользуюсь взаимностью. Надеюсь, никаких иных канцелярских уточнений не требуется?

— Кажется, я не говорил вам ничего обидного.

— А я и не обижаюсь. Сразу скажу о том, что считаю наиболее существенным. Но предупреждаю вас заранее, моя информация вас несколько удивит... Если профессия и положение вам позволяют, прошу не скрывать ваших эмоций. Так что подготовьтесь.

Я сам удивляюсь своему спокойствию, словно бы вовсе и не пережил столько. Я курю и смотрю следователю прямо в глаза.

— Я уже подготовился. Слушаю вас! — улыбается он.

— У вас есть чувство юмора, и это хорошо. Но я не собираюсь шутить. То, что я вам сейчас сообщу, может показаться вам невероятным. Вполне возможно, вы даже поставите мне это в вину. Вас интересует, откуда мне известно, что академик Леван Гэришвили застрелился ровно в два часа (само собой разумеется, по моим часам). Итак, я знал, точнее почувствовал, что мой учитель решил на самоубийство. При прощании я разглядел в его глазах печать смерти. Взволнованный и задышающийся, я вышел на улицу, сел в машину и терпеливо стал дожидаться звука выстрела.

— Невозможно!

— Что в этом невозможного?

— Вы узнали, прошу прощения, почувствовали, что академик ч, насколько я знаю, ваш руководитель и близкий вам человек собирается покончить с собой, и преспокойно вышли на улицу, уселись в машину, терпеливо дожидаясь выстрела?

— Вот именно. Вы прекрасно вникли в суть этого эпизода (что и говорить, «суть эпизода» я произнес с убийственной иронией). Тем более удивительно, почему это показалось вам невозможным.

— Как же так, вы почувствовали что-то неладное (не сводя с меня глаз, он шарит по столу в поисках сигареты) и, вместо того чтобы не покидать, успокоить или переубедить человека, вы бросили его на произвол судьбы и уселись в свою машину, ожидая, пока он наложит на себя руки?

— Я вас предупредил, что мое сообщение вызовет в вас резкую реакцию.

— Откуда вам стало известно, что он застрелится из револьвера? — словно уличив меня в противоречии, спросил следователь.

— Уважаемый товарищ следователь, в вашем голосе мне почудились несколько иные нотки.

— Какие такие нотки?

— Вы заговорили так, словно ведете допрос обвиняемого!

— Прошу прощения, — сконфуженно улыбнулся следователь и несколько сник. — Но ваш рассказ так взволновал меня.

— Погодите. Сначала я отвечу на ваш вопрос. Леван Гэришвили вряд ли повел бы себя, как женщина либо шизофреник. Он не стал бы вешаться, травиться или бросаться в огонь. Револьвер ему подарил после окончания войны его друг, пригодится, мол, ведь наша лаборатория в горах. Вот и пригодится...

— Еще раз прошу прощения, если я не так что сказал, но поймите меня правильно, я потрясен этой несколько необычной историей. Но еще больше взволновал меня, нет, нет, слово «взволновал» ни в малейшей степени не может выразить моего состояния, возмутил, не в обиду вам сказано, ваш поступок. Как вы могли, любимый ученик академика, провинившись в его намерение, бездействовать и ждать? Ждать, по вашему же выражению, звука выстрела? Вы целых сорок пять минут ждали трагической развязки. Допустим, он отложил бы самоубийство до утра. И что же, вы преспокойно сидели бы в

машине до самого утра, чтобы просто убедиться в истинности своего предположения? Неужели сердце не подсказало вам выхода, неужели вам было не жаль старика? Неужели вам даже в голову не пришло как-то поддержать, подбодрить, наконец, просто отговорить его? Кто знает, может, одно ваше доброе слово, один подбадривающий взгляд сумели бы заставить его отказаться от своего рокового шага? Но больше всего меня поражает, как вы смогли в течение столь длительного времени невозмутимо ждать ужасного исхода? Простите, но меня немало удивляет и эта ваша спокойная, одобренная сарказмом и иронией речь. Словно вы рассказываете о некоем незначительном происшествии. Скажу вам откровенно, я не верю вашему рассказу и в глубине души надеюсь, что вы просто изволили шутить. Но тут же добавлю, если вы действительно пошутили, шутка ваша явно не удалась!

Лицо следователя побагровело от волнения. Одно время он пристально смотрел на меня, словно стараясь вычитать в моих глазах, шучу я или говорю правду. Потом он внезапно схватил бокал и жадно осушил его.

Молчание затянулось. Может быть, следователь догадался или подсознательно почувствовал, как невзначай коснулся незримых нитей моей души и как потрясло, как произошло меня это прикосновение. Об этом я думал потом, когда следователь уже ушел, но что тревожило меня? Что мучило? Может, упрямства совести, что я и пальцем не пошевелил для спасения самого близкого мне человека? А может, сердце мое терзала еще более глубокая и непознаваемая боль? Может, он догадался о чем-то? Или просто ощутил?

Молчание.

А потом, как и всегда, сигарета.

Внезапно следователь насторожился. Он, видно, уловил, что в моей однокомнатной квартире есть еще кто-то. Из ванной лишь на мгновение донесся шум льющейся воды. Наверное, Эка открыла дверь ванной, а потом снова закрыла ее. Вскоре раздались крадущиеся шаги. У следователя расширились зрачки. Я не оглядываюсь, но чувствую спиной, что следователь увидел Эку. Я знаю, какое впечатление произведут на него ладная фигура в джинсах, распущенные каштановые волосы, ниспадающие на красную рубашку (наверное, Эка держит в руках полотенце и сушит волосы), длинные изящные руки и слегка непропорциональное, но нежное лицо, полное энергии и страсти.

Следователь видел Эку лишь мельком, но даже этого мимолетного взгляда было вполне достаточно, чтобы убедиться в ее красоте. Теперь-то ему должно быть ясно, кто сидел в моей машине той ночью. Красота Эки еще больше возвысила мою персону в глазах следователя. Уважительность сквозила в его взоре, устремленном на меня (что ж, благодарю, Эка).

— Я по двум причинам не помешал академику Левану Гзиришвили осуществить свое намерение. Давайте условимся не будем торопиться называть его шаг безрассудным.

Я глубоко затаиваюсь и чувствую, как желтый яд медленно вползает в мои легкие. Дым угодил мне в левый глаз. Я потер его кулаком и искоса взглянул на следователя. Он сидел в напряженной позе. Я с отвращением раздавил сигарету о пепельницу.

— И так?! — нетерпеливо переспросил меня следователь.

— Да, да, я не помешал ему по двум причинам. Во-первых, я не выношу, когда вмешиваются в мои дела, и соответственно, не сую носа в чужие...

Молчание.

— А во-вторых? Вы не назвали второй причины!

— Второй?

Я поглядел на бокал. Он был пуст. Следователь суетливо схватил бутылку и налил мне шампанского, видимо, не желая, чтобы я ненароком не отвлекся и не забыл закончить начатую мысль.

— Вторая причина гораздо серьезней. Даже попытайся я вмешаться в личные дела академика, все равно ничего бы не вышло. Да он просто не позволил бы мне соваться во что не пристало. Леван Гзиришвили был не из тех, кто легко мог решиться на что-либо. Не принадлежал он и к числу тех, кто кончает самоубийством в состоянии аффекта. Он никогда не менял своих решений в зависимости от эмоциональных перепадов. Леван Гзиришвили был крупным ученым и крупной личностью. Нам даже не могли прийти в голову те мысли, которые рождались и зрели в его мозгу. Наши сердца никогда не испытывали таких перегрузок, которые для него были обычными и повседневными. Мы никогда не оставались с глазу на глаз с теми опромными проблемами, с которыми ему постоянно приходилось сталкиваться.

Мы никогда не стояли у Рубикона (вспомнил я слова своего учителя). Мы ни разу не ощущали ни радости большой победы, ни горечи жестокого поражения. Наши эмоциональные импульсы были слабы и незначительны в сравнении с могучими эмоциональными вспышками покойного академика. И разве под силу нам взвесить и оценить его решение! Или помешать в его осуществлении! Это смешно, уважаемый товарищ следователь! Мы с вами никогда не сможем взять на себя роль арбитров в судьбе таких людей, каким был покойный Леван Гзиришвили, по очень простой и понятной причине: нам не дано заглянуть в глубины их душ. Леван Гзиришвили решил покончить с собой! Кто дал мне, Нодару Геловани, право помешать ему в этом? Способен ли я оценить истинность его решения?

Я почувствовал, как загорелись у меня глаза, и, вскочив на ноги, я стал ходить взад-вперед по комнате.

— Как вы думаете, что подтолкнуло его к этому крайнему средству? Какие у него могли быть причины?

— Мне многое ясно, но стоит ли об этом говорить? Будь у него желание раскрыть причины своего несчастья, он не преминул бы изложить их на бумаге.

— Поймите, мною движет вовсе не любопытство. Министерство официально поручило мне всесторонне изучить это

дело. Леван Гзиршвили был большим ученым, большим физиком, во всяком случае, одной из самых заметных фигур в советской науке. Насколько я знаю, он работал в сфере микромира. Не могу похвастать, что я достаточно разбираюсь в областях микромира или элементарных частиц, но в общих чертах знаю, что это завтрашний день физики. И вот физик, один из пионеров этого дела в нашей стране, пользующийся почетом, признанием и славой, внезапно кончает жизнь самоубийством. Это странное самоубийство может породить тысячи вопросов, на которые можно дать столько же ответов. Я знаю, что вы больше других сможете помочь мне разобраться в этом таинственном деле.

— На первый взгляд это достаточно просто и в то же время невероятно трудно (я тяжело опускаюсь в кресло). Но я все же попытаюсь рассказать вам кое-что и попутно высказать свои соображения по этому поводу. Догадываюсь, что самоубийство академика может интересовать вас по многим причинам. Ну, например, не шантажировал ли его кто-нибудь? Или возьмем более смелое предположение: не похитил ли кто какого-нибудь великого открытия у старого ученого? Я, само собой разумеется, имею в виду не элементарный плагиат, а нечто более серьезное, ну вроде происков иностранной разведки.

— Я прошу вас не понимать это столь примитивно. Меня интересует и внутренний механизм поступков ученого.

— Но это скорее как человека, а не как государственного следователя. Давайте не будем об этом спорить. Выпейте шампанского. У меня найдется еще несколько бутылок. Да и льда я вам принесу сию минулу.

Пустую бутылку и миску для льда я отнес на кухню. Эка гладила мои рубашки.

— Ты не устала? — я поцеловал Эку в шею.

— Напротив, я с опромным интересом слушаю тебя. Мне жаль, что я многое пропустила, пока была в ванной.

— Ты ничего не потеряла. Главное еще впереди!

Я возвращаюсь в комнату с шампанским и льдом.

— Не стоит открывать. Я больше пить не буду.

— Пусть постоит открытой.

— Будьте добры, продолжайте.

— Начну издалека (я медленно откупорил бутылку). Ну, например, с того самого момента, когда греческие материалисты ввели в научный обиход слово атом. Не осмелюсь объяснять вам, что слово атом значит неделимый. Это было величайшее открытие. Оно продержалось двадцать столетий. В то же время, это величайшее открытие было ошибочным. «Неделимость» или атом — согласитесь, слово «атом» звучит более научно — понималось в двух смыслах. Первое — идея о сложнейшем строении материи, а второе — о неделимости первоосновы.

Двадцать столетий потребовалось на то, чтобы развеять миф о неделимости атома. Ученые установили природу атома, и что же? Сам атом оказался целой вселенной. Сначала обнаружили его составные части — электроны, протоны и ней-

троны, а потом установили, что это и есть первоосновы материи, и назвали их элементарными частицами. Вы здесь упоминали элементарные частицы, но тут же оговорились, что не знаете, каковы их свойства. В наше время их количество далеко перешагнуло за двести, и никто из смертных не знает, есть ли им конец.

Открытие рентгеновских лучей и радиоактивности задало физикам новую головоломную загадку. Тогда еще не было известно, что всепроникающие рентгеновские и радиоактивные лучи возникали в результате торможения электронов, с громадной скоростью вращающихся вокруг атомного ядра. Надеюсь, я говорю понятно?

— Я приблизительно понимаю, все что вы говорите, но не могу понять одного, какова связь между рентгеновскими лучами и самоубийством Левана Гзиришвили.

«Рентгеновские лучи» он упомянул, видимо, потому, что краем уха о них слышал.

— Представьте себе, прямая, уважаемый товарищ следовательно, да, да, прямая. И если вас действительно интересуют причины самоубийства академика Гзиришвили, советую вам набраться терпения. Я, кажется, уже предупредил вас, что собираюсь начать издали.

— Я весь внимание! — сказал следователь и передернул плечами. Я заметил, что ему явно не по сердцу мое патетическое обращение «уважаемый товарищ следователь».

— Так вот. Еще вчера ученым было неизвестно строение атома, им было неведомо ни его ядро, ни его электронная оболочка. Лишь позже стало ясно, что некий таинственный источник подает сигналы своего существования. В дальнейшем обнаружилось еще одно необычное явление. Заряженные электроскопы оставляли в герметических сосудах, которые в свою очередь наполнялись нейтральными газами. Надежная изоляция давала полную гарантию, что в сосуд ничто не сможет проникнуть, однако свершалось чудо. Да, да, чудо. То, что сегодня представляется обычным и каноническим, некогда было чудом. Как правило, так и происходит — каждое открытие со временем кажется обыденным, а иногда и банальным. Утром электроскоп оказывался разряженным. Какие-то неизвестные заряженные частицы все же проникали в герметический сосуд.

Каким образом оказывались эти заряженные частицы в изолированном сосуде? Попытаюсь в общих чертах объяснить вам суть таинственного обстоятельства. Никто не имел понятия, что происходит, но существовал один непреложный факт: сосуд пронизывали всепроникающие лучи, обладающие сверхэнергией. Леван Гзиришвили окружил камеру с электроскопом свинцовой стеной. Вы, наверное, знаете, что свинец поглощает лучи рентгеновских и радиоактивных элементов. Теперь уж электроскоп был надежно изолирован от воздействия рентгеновских и радиоактивных лучей — значит, он должен был остаться заряженным. Но случилось чудо — металлические пластинки электроскопа все-таки разрядились.

Это явление всех взволновало. Итак, существуют всепроникающие, сверхмощные лучи. Радиоактивные и рентгеновские

лучи по своей мощности не шли с ними ни в какое сравнение. Естественно, всех терзала мысль, как определить энергию неизвестных частиц и, что самое главное, выявить источник этих излучений. Первое предположение сводилось к тому, что лучи эти идут из земных глубин. Затем опыт был проведен в условиях высокогорья — интенсивность излучения возросла. Стало ясно как день — лучи шли из глубин космоса. Тут же возник вопрос. Я прошу вас, уважаемый товарищ следователь, оценить суть и значение этого вопроса — не являются ли эти лучи первоосновой материи?

В дальнейшем выявилось следующее — доходящие до нас космические лучи были вторичны. Они являлись результатом столкновения с земной атмосферой. Тогда родились новые предположения — не были ли неизвестные гости из космоса фотонами высоких энергий? Это предположение не подтвердилось. Иные полагали, что космические лучи высоких энергий представляют собой электроны. Но и сторонники этой теории не оказались правы. Лишь два десятилетия тому назад удалось установить, что космические частицы — протоны. В свою очередь, вторжение протонов в глубины атмосферы порождало вторичные частицы, что раскрывало тайну их структуры. Не волнуясь, уважаемый товарищ следователь, после столь фрагментарного экскурса в большую историю открытия элементарных частиц я вновь вернусь к академику Левану Гзиришвили. А если быть точнее, мы уже подошли к наиболее интересному периоду деятельности Левана Гзиришвили. Он убедился, что стоит на пороге величайшей тайны. Леван Гзиришвили не сомневался, что обнаружит новые, дотоле не известные частицы. В то время из всех составных частей атома известны были лишь электроны, протоны, нейтроны, представители массы — энергии света — фотоны и близнецы положительно заряженных электронов — позитроны. Если вам что-то неясно, не стесняйтесь, спрашивайте.

— Продолжайте, пожалуйста. Пока у меня вопросов нет.

— Я не стану задерживать ваше внимание рассказом о дальнейшей истории открытия частиц. Впрочем, я должен коснуться мезонов. Их обнаружили в 1940 году. Семейство элементарных частиц возросло за счет еще двух новых членов — положительных и отрицательных мезонов. Леван Гзиришвили с поразительной энергией скупился в работу. Я ходил в детский сад, когда на одном из самых красивых хребтов Кавказиони выстроили лабораторию. Сначала она больше смахивала на дощатую хижину, рассказывал нам потом Леван Гзиришвили. Но зато название было звучным — лаборатория космических лучей. Доверяя вашей фантазии, я не стану детализировать, ценой какого напряжения сил удалось превратить эту хижину в современную научную лабораторию и, как любят выражаться журналисты, в настоящую кузницу научных кадров. Начались неустанные научные изыскания. Тайна была тут же, под рукой, но как же трудно было проникнуть в ее сущность. Все понимали, что стоят на пороге постижения первооснов материи. Леван Гзиришвили и его соратники создали диаграмму спектров масс. Теоретически они знали, что на

кривой кроме электронных ионов должны быть еще мезонные и протонные нити. А кривая между ними должна была углубиться (я встаю, беру с письменного стола бумагу и жарендаш, изображаю кривую и передаю следователю), вот как на этой диаграмме. Но случилось неожиданное: диаграмма, полученная на основе данных исследования, полностью перечеркивала их предположения и теоретические посылки. Между мезонами и протонами возникло еще несколько пиков. Вот здесь и началось борение страстей. Вся лабораторию лихорадило. Не была ли совокупность небольших пиков изображением совершенно новых элементарных частиц в космических лучах? В силу того, что сознание психологически уже созрело для новаций большого масштаба, предположения и соображения шли гораздо дальше — не были ли эти неизвестные частицы первоосновой вселенной, материи? Вот теперь я постепенно приближаюсь к трагической развязке. Но прежде чем я представлю вам последний акт жизни старого ученого, я предлагаю выпить за его память.

Следователь выпил, не говоря ни слова, лишь глаза его подернулись печалью.

— Вы еще не устали?

— Нет, нет, продолжайте, пожалуйста.

Жгучее любопытство не сходило с его лица. Ко мне он проникался все большим уважением. Видно, впервые за всю свою практику он слушал подобные вещи, которые явно не умещались в рамки обычных преступлений.

— Впоследствии выяснилось, что все эти диаграммы с пиками неизвестных элементарных частиц были миражем, иллюзией. Моему учителю было трудно признаться в этом, тяжело было примириться с неудачей. Выше головы не прыгнешь, истина, она и есть истина. Тяжелое поражение ошеломило Левана Гзиришвили, стало источником его душевных терзаний.

— Но нельзя же полагать, что каждый эксперимент с необходимостью закончится неудачно. Конечно же, обидно, когда столько труда пропадает впустую, но можно ли из-за этого кончать жизнь самоубийством?

— Вы правы, не каждый эксперимент бывает удачным. Я забыл сказать, что до того момента, пока мираж рассеялся, «пики» Левана Гзиришвили заставляли говорить о себе весь мир. Его избрали академиком, приглашали на все симпозиумы, одним словом, имя Левана Гзиришвили сделалось притчей на устах во всех научных кругах. Его личность постепенно стала легендарной. А вы знаете, уважаемый товарищ следователь, что значит испытать поражение, когда ты вознесен на вершину славы? И какое поражение — полное и безнадежное. Ты уверен, что проник в сложнейшую структуру строения Вселенной, убежден, что сорвал покров с тайны, весь мир с волнением следит за каждым твоим шагом, и вдруг — мираж, пустота, нонсенс.

Пауза.

Следователь сидит с пустым бокалом в руке, так и не удосужившись поставить его на стол. Он явно боится нару-

шить воцарившееся молчание. Лишь глаза его настойчиво требуют закончить повествование.

— Впоследствии выяснилось, что в результате распада мезонов в верхних слоях атмосферы возникают пи-мезоны. Тайна возникновения пи-мезонов является сегодня азбучной истиной. В космосе происходит бомбардировка мезонов протонами — как видите, требуется всего пять слов, чтобы описать это сложнейшее явление. Именно эти пи-мезоны и создали маленькие пики между мезонами и протонами. Итак, все стало на свои места, и праздник сменился отчаянием. Выдающееся открытие лопнуло, как мыльный пузырь. Но самым унижительным были все же ироническая улыбка, не сходящая с уст противников, и мимоходом оброненные снисходительные замечания в научной прессе.

Сигареты у меня кончились. Следователь предупредительно протянул мне свою пачку.

— Можно ли сказать, — глубоко затянувшись, продолжил я, — что Леван Гзиришвили первым обнаружил мезоны и их многочисленное семейство? Ведь академик стоял на пороге этого открытия. Естественно, открытие семейства мезонов не было открытием того ранга, каким бы стало обнаружение существования совершенно неизвестных элементарных частиц. Однако само по себе открытие семейства мезонов и их экспериментальное подтверждение, несомненно, упрочили бы мировой авторитет Левана Гзиришвили. К сожалению, он долго не смог оправиться от жестокого удара. Лишь человек с железной волей и стальными нервами мог вынести такое. Академик еще долго пребывал в состоянии шока. Он упрямо пытался доказать существование малых пиков, с завидным упорством стремился открыть элементарные частицы, не существующие в природе. В конце концов, убедившись в своей ошибке, он пришел в себя, но было уже поздно. Семейство мезонов было уже обнаружено и описано. Одним словом, даже радость открытия и экспериментального подтверждения существования семейства мезонов стала достоянием других. Так рухнул замок мечты. Триумф сменился жестоким поражением. А от замков мечты, по выражению одного прекрасного физика и писателя, развалины не остаются.

Пауза.

— Не знаю, насколько точно я ответил на ваш вопрос, но вот, собственно, и все, что я хотел сказать.

— Да, мне все ясно, вернее сказать, многое стало ясно... Но... (он пожал плечами). До меня все же не доходит, что заставило его покончить с собой. Как же поступить в таком случае нам, простым смертным, кому не дано потрясать мир великими научными открытиями? Выходит, мы все должны кончать самоубийством? В конце концов, у Левана Гзиришвили

Тамаз ЧИЛАДЗЕ

УРОКИ ТОЛСТОГО

В 1910 году в связи со смертью Толстого Акакий Церетели опубликовал на страницах «Сахалхо газеты» («Народной газеты») статью «Лев Толстой». Написана она была в те дни, когда возникавшие наряду с мудрыми и искренними словами всевозможные сплетни, пересуды, пестрота сенсационных корреспонденций делали еще более туманным и почти легендарным и без того окутанный тайной последний великий порыв, или, как говорил Бунин, «завершение освобождения» — уход и смерть на маленькой станции Астапово. Обществом овладела некоторая оторопь, ибо умер человек, смерть которого в силу его мятежной жизни и титанической борьбы казалась почти невероятной. Логическая точка конца его существования почти полностью исключала смерть, которой он, по словам Горького, боялся на протяжении всей жизни. Этот страх Л. Толстой выражал в сценах фантастической силы, проявлял, и я бы сказал, увековечивал, ибо всему, чего он касался своей рукой, уже не суждено было исчезнуть из этого мира; оно навечно утверждалось в нашем бытии, в нашей памяти и — что главное — в нашей душе. Воистину он был каменщиком человеческого духа. Это слово как нельзя более подходит к его великой простоте. Оно всплыло из глубин нашего воображения, и за ним следует целый ряд еще более величественных титулов: создатель букваря, пахарь, сельский учитель... И вдруг — этот человек не просто умер, а сам устремился навстречу смерти, спешил, как будто смерть никогда бы не решилась явиться к нему сама. И вот на маленькой захолустной станции они встретились — два кровных врага. Сегодня мы знаем, кто из них победил в этой последней решающей схватке. В одном из рассказов Л. Толстого мы читаем: «Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было. Вместо смерти был свет».

Именно свет избрал он своей вечной обителью, приютом своего освободившегося духа. И вот осиянный этим светом, он идет к нам, не следует за временем, а ведет его за собой и щедро делится с людьми блеском своего таланта.

Наверное, очень трудно было в день смерти Толстого объективно говорить о его личности и значении. Поэтому сегодня мы с понятной гордостью читаем статью великого поэта Акакия Церетели. Это слова, сказанные в час скорби, продиктованные ясным умом. Эта статья, которая, судя по всему, выражала мысли передовых людей Грузии того времени, заканчивается следующими словами:

«... Он проповедовал единство, равенство и любовь. Протестовал против угнетения сильным слабого, против того, чтобы большой проглатывал маленького.... Этим он привлек сердца всех угнетенных и обрел последователей не только в России, но и в Европе, и в Америке, как пророк и вестник будущего. Так что же удивительного, если сегодня грузины искренне оплакивают его уход...».

Толстой говорил: «Глупо, когда один человек считает себя лучше других народов, но еще глупее, когда целый народ считает себя лучше других народов!».

Борьба за свободу — благородное свойство, характерное для всех народов, но народ делают великим мысль и забота о свободе других. В «Анне Карениной» есть такая фраза: «Избавление своих собратьев от ига — есть цель, достойная и смерти, и жизни».

Урок Толстого учит нас сегодня, что свобода — не абстрактное, патетическое понятие, она так же необходима для существования человека, народа, страны, как воздух, хлеб, вода...

Послушайте, какие замечательные слова говорит Толстой: «Исключим ли мы негров, как их исключают американцы, и индейцев, как их исключают некоторые англичане, и евреев, как их исключают некоторые?..». Одна только интонация этой фразы делает очевидным, что великому писателю это кажется таким же невозможным, как исключить из человечества русских, французов или англичан, писатель словно говорит о современном мире, где соотношение сил добра и зла складывается пока еще не совсем в пользу добра. Поэтому именно сейчас нельзя закрывать глаза на злое и дурное, ибо, если ты закроешь их хотя бы на миг, не откроешь их больше никогда. Вот здесь мы расходимся с учением Толстого, хотя справедливость требует признать, что пафос некоторых его произведений, в особенности таких, как «Анна Каренина», «Война и мир», «Хаджи-Мурат», призывает нас именно к непримиримости.

Ленин писал: «Противоречия во взглядах Толстого — не противоречия его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных, противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов и различных слоев русского общества в пореформенную, но дореволюционную эпоху» (В. И. Ленин «Л. Н. Толстой»).

Как видим, Ленин подчеркивает великий реалистический дар Л. Толстого, его гениальное умение частное превращать в общее, через личное выражать общественное.

В другой статье «Толстой и пролетарская борьба» Ленин точно подмечает первейшее достоинство Толстого-художника, заключавшееся в широте и глубине изображения народа. И верно, начиная с ранних рассказов до последних произведений, главный герой толстовского творчества — народ, «со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами». Толстой был апологетом про-

стого трудового народа, в особенности — крестьянства, что ему отнюдь не мешало быть также его критиком. В представлении писателя народ находился во «власти тьмы», поэтому и были подавлены его животворные творческие инстинкты. Гений народа во всеполноте проявлялся в периоды великих сдвигов и катастроф. В творчестве Толстого ничто не связано так тесно и органично, как понятия — народ и родина. Поэтому в произведениях, созданных на тему войны, действуют не армии, а борется и побеждает народ. Эта идея разлита во всех его сочинениях, иногда как главная тема, например, в «Севастопольских рассказах» или в «Войне и мире», иногда как мелодия — фон, на котором действуют характеры, рожденные народными недрами, с совершенной пластической выразительностью. В «Войне и мире» — этой новой «Илиаде» — тема народа приобретает грандиозное звучание. Этот роман — гимн, хвала народу, борющемуся за родину, где понятие народа настолько же доведено до идеала, насколько принижено, вернее — абсолютно игнорируется значение полководца. Толстой сравнивает Наполеона с фигурой, высеченной на носу корабля, которая, разумеется, не может признаваться силой, движущей корабль. Даже Кутузов, нарисованный с явной симпатией в романе, осуществляет только волю Провидения — в данном случае, волю русского народа.

«Такова воля нашего народа», — говорит Кутузов в романе и тем самым отождествляет народ с провидением.

Толстой пишет: «Благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью». Один римский историк говорил: «Ни одна земля, ни один друг не защитит того, кого не защитило собственное оружие».

Грандиозные батальные сцены, описание партизанской войны — это сказание о вставшем на защиту отечества героическом народе, с которого в романе сняты псевдоромантические покровы и который не только сражается, но живет героически. В романе такой героической жизнью живут обычные рядовые люди — проникнувшиеся волей провидения, вдохновленные родиной на героическую жизнь или смерть! Вот этот простой народ и есть подлинный герой, ибо он не требует награды за свою службу. Действительно, история не помнит имени ни одного из солдат-наемников, хотя ландскнехты были явлением широко распространенным в Европе и сами они были хорошими воинами. Для них война была только лишь доходным ремеслом.

В центре художественного творчества и философского учения Толстого — человек. Как писателя и философа его интересует тайное родство людей — не кровное, а более сильное, более важное, необходимое для человеческого существования на этой земле. Он и находит таких — похожих друг на друга людей и очень смело, можно сказать, на первый взгляд, даже несколько странно, объединяет их, собирает в одну группу, имеющую, безусловно, некий опознавательный знак. Например, одну из таких «родственных» групп составляют Пьер Безухов, Андрей Болконский, Наташа Ростова и

пятнадцатилетний сын Андрея Болконского — Николай. Призыв их объединяющий, — мечта! Они, если можно так выразиться, родственники не по крови, а по мечте. Это интуитивное стремление друг к другу благородных натур.

Раненный в Аустерлицком сражении Андрей Болконский смотрит на небо и думает: «Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба». На фоне этого «высокого, справедливого и доброго неба» даже фигура Наполеона выглядит мелкой и ничтожной, что само по себе делает явной всю тщету земных страстей.

И Наташа Ростова тоже видит бесконечное, вечное небо, мечтает взлететь, и не случайно, что ее слова, ее «мечту» слышит не кто иной, как князь Андрей.

В лагере пленных, сидя на холодной земле у колеса повозки, Пьер Безухов тоже поглощен созерцанием бесконечного неба.

«Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! — думал Пьер. — И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!». Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам».

Возможно, этот эпизод был изначально навеян философской концепцией Толстого, но очевидно и то, что в конечном итоге здесь победила поэзия. Мы видим, чувствуем, переживаем возвышенное состояние духа героя, постигаем смысл его непонятной улыбки: человека покорить невозможно, ибо в данном случае его свобода — та же свобода природы, на которую никто не может посягнуть.

Родство по мечте для Толстого так значительно, так символично, что в конце романа в сне-мечте юного Болконского Пьер и Андрей представляются уже одним существом.

Как известно, прежде чем написать «Войну и мир», Толстой собирался написать роман о декабристах. И даже начал его, но потом отложил и принял за «Войну и мир». Характеры главных героев этой великой эпопеи, ее финал, чья тональность определяется сном пятнадцатилетнего юноши — сына князя Андрея, свидетельствуют о том, что писатель непрестанно думал о декабристах. Герои Толстого — Андрей Болконский, Пьер Безухов и юный Николай Болконский — потенциально декабристы, а Наташа Ростова — верная жена будущего декабриста, которая готова героически разделить каторжный быт супруга.

Историческая эпоха, запечатленная в «Войне и мире», приближается, а точнее — непосредственно граничит с датой восстания декабристов. Наташа Ростова скажет о Пьере, вернувшемся из плена: «Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? — морально из бани». Да, морально и нравственно очистившимися, возвышенными встречаются герои «Войны и мира» грядущее выступление против царской тирании. Таким образом, этот грандиозный роман в самом себе содержит второй роман — роман о декабристах, и блеснувшая в сне-видении мальчика-подростка «слава» не что иное, как имена героев, написанные на «обломках самовластья».

Когда мы читаем «Войну и мир», употребляя выражение известного французского писателя, нами овладевает «осознание по-

степенного хода истории». Но это не историческое время, закономерное чередование событий. Это время поэзии, приток реки — вечности, переброшенный волею титана в пустыню нашей повседневности.

Среди героев «Войны и мира» своей привлекательностью, силой своего влияния, своей нравственной значительностью выделяется прежде всего образ Наташи Ростовой, я бы сказал, преображенный в музыкальную мелодию человеческий характер, вырванный поэтическим гением Толстого из обычной жизни и превращенный в маяк любви и нежности. Поэзия — это то, что превращает объективно существующую действительность во вторую художественную действительность, возвышает и придает ей особое значение. Белинский говорил, что в поэзии жизнь ощущается острее, чем в самой жизни.

Раз уж я обратился к Белинскому, вспомним и другое его высказывание. «Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство» («Сочинения Александра Пушкина»).

Мы читаем эти слова, и характеристика Татьяны напоминает нам что-то очень знакомое, очень близкое, и не только напоминает, но до такой степени представляется похожим, что мы можем продолжить фразу Белинского и закончить ее так: «...так же, как в полном следовании долгу нашла свое счастье Наташа Ростова!». Итак, Наташа Ростова — младшая сестра Татьяны. В 1857 году Толстой записал в свой дневник: «Прочел прелестную статью о Пушкине»... «Статья о Пушкине — чудо. Я только теперь понял Пушкина». Именно в этой статье, которая так понравилась Толстому, были те слова — или план зарытого клада — схема характера Наташи Ростовой.

Таким образом, из рук Белинского принял Толстой эстафету Пушкина, которого он называл «божественным». Именно из неосуществленной пушкинской мечты родилось это литературное чудо — Наташа Ростова.

Если кого-то из многочисленных героев Толстого и можно поставить рядом с Наташей Ростовой, то в первую очередь — Анну Каренину — героиню одноименного романа, названного великим Достоевским «совершенством». Этот роман Толстого, пользуясь выражением Энгельса, не является ни «католическим», ни «протестантским», это новый тип романа, который называется Романом Толстого. Семейные отношения в этом романе, любовь или измена — те узловые пункты, где собраны и обнажены во всей полноте социальные условия страны, противоречия, характеризующие общество. Можно утверждать, что после «Воскресения» — это самое критичное толстовское художественное произведение.

Толстой многому научился у европейской литературы. Известно, как горячо любил он в юности Жан-Жака Руссо. Он говорил, что в пятнадцать лет носил на груди вместо медальона его портрет. Эта любовь принесла прекрасные плоды в «Казаках» и в других рассказах. С большой симпатией Толстой говорил о Диккенсе,

Бальзака называл гением. Нравился ему и Мопассан. И все же его романы резко отличаются от западноевропейского романа. Толстой привносит новации не только в прозу, он — реформатор литературного мышления в целом. Является одновременно романистом и исследователем, историком, социологом и психологом. Личная жизнь его героев связана, вернее, тесно переплетена с судьбами страны и народа. В проблеме семьи отражается острая политико-социальная проблематика. Рушится семья, рушится любовь, рушится мир. Представлена мозаичная картина мира, никто и ничто больше не обладает внутренней прочностью. Даже те персонажи, на чьих плечах держится государство и которые собою олицетворяют власть — чиновник и офицер — Каренин и Вронский, внутренне фальшивые и опустошенные личности. Не случайно они тезки — «какая странная, ужасная судьба, что оба — Алексея, не правда ли?» — это слова Анны; не зря они играют в ее жизни такую роковую роль! Да, эти два человека в творчестве Толстого образуют еще одну «родственную группу», отмеченную печатью фальши.

Алексей Каренин — важный чиновник, если можно так выразиться, бумажная душа. Чтобы представить его психологический портрет, духовную сущность, достаточно вспомнить гениальный пассаж из романа: узнав, что Анна любит Вронского, Каренин, запершись в своем кабинете, в своей крепости — а еще точнее — в своей раковине, предается тяжелым мыслям оскорбленного человека. Но постепенно в эти мысли вклинивается другая мысль — почти неожиданная в таких обстоятельствах, но очень естественная для Каренина, — мысль об одном «сложном» деле, и все существо Каренина вдруг преобразуется, взбадривается — из оскорбленного супруга он снова превращается в чиновника, с головой погружается в свои бумаги, и мы видим, как он далек от подлинно-человеческих переживаний, и понимаем, что сочувствовать ему невозможно.

Всего один штрих помогает нам представить всю фальшь натуры Алексея Вронского.

Толстой пишет: «Вронский снял с своей головы мягкую с большими полями шляпу и отер платком потный лоб и отпущенные до половины ушей волосы, зачесанные назад и закрывавшие его лысину».

Таким же образом Вронский прикрывает и скудость своей души. На протяжении всего романа Толстой его безжалостно разоблачает, и мы видим человека, который занимается верховой ездой, не умея ездить на лошади, рисует, не будучи художником, любит, но не рожден для любви.

Толстой умеет одним штрихом изобразить характер героя, но он никогда не довольствуется одним штрихом, за ним следует второй, такой же точный, за вторым третий, и так — до бесконечности. Эта щедрость гения настолько безгранична, что сначала может вызвать даже чувство протеста. Хватит, думаешь, довольно! Но потом, когда чтение закончено, уже навеки плененный его живописью — сочным звучанием густо наложенных красок, постигаешь: обилие метафор нужно ему не потому, что он не доверяет читателю, а потому что он думает, считает человека сложным существом, знает, что добро и зло никогда не бывают одномерными, у них много ответвлений, иногда — совершенно неожиданных нюансов, и писа-

тель старается выявить все возможные варианты, взять их на учет и сберечь для человечества.

И если вернуться к Вронскому и Каренину, то можно сказать (как бы смело это ни звучало), что Вронский — это тот же Каренин. В самом деле, что может объединять эти два, на первый взгляд, полярно противоположных характера, согласно сюжету, друг с другом соперничающих? Объединяет их то ужасное чудовище, которое называется буржуазной моралью. В основе этой морали лежит отношение к человеку как к предмету. В блестящем рассказе «Холстомер» мы читаем: «И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит «мое», тот считается у них счастливейшим».

И вот «игра условлена» на «роскошную вещь» — Анну Каренину. Кто скажет о ней — «моя»? Каренин или Вронский? Вронский и Каренин — две стены камеры, стены, о которые в смертной тоске бьется Анна. Тем самым я хочу сказать, что эти два, как будто радикально отличающихся друг от друга характера — педантичность и беспечность — имеют лишь чисто внешние различия, ибо они порождены одним обществом, одними обстоятельствами, одной моралью, отчеканены одним чеканом.

Темы семьи Толстой касался во многих произведениях. Мы можем назвать «Крейцерову сонату», «Живой труп», «Войну и мир», но с такой силой, с такой заинтересованностью, с такой значительностью, как в «Анне Карениной», он не говорил об этом нигде. Анна Каренина до конца борется за свою любовь — или за личную свободу. И в самом деле, ее поступки можно назвать только борьбой. Любовь и свобода — для нее одно, ибо в головокружительном, зачарованном просторе любви она смогла до конца выявить возможности своего «я». Для нее не существует ничего другого, когда она любит, она жаждет любви, как самой жизни, и с отчаянием умирающего от жажды приникает к мгновенному блаженству. Она верит в такую любовь, какую создал бог: с первозданной яростью и нежностью, с первозданной свободой или робостью. Однако Анна чувствует глубоко и сильно. Если мы приглядимся к ее движению в романе, то увидим, что она отнюдь не покорна и безропотно, подобно верующим, но старается выдумать, создать, утвердить такую любовь. Она сама создает свою любовь. Это то же самое, как если бы человек сам создавал тот воздух, которым дышит. Поэтому так искусственна и вымучена ее любовь, поэтому и рушится она столь трагично, поэтому и гибнет Анна.

О сложности и глубине характера Анны Карениной говорит хотя бы такая деталь: пришедшая на свидание с сыном Анна уносит обратно приготовленные в подарок игрушки. Конечно, это можно объяснить забывчивостью и волнением, но этот ее поступок имеет, как мне кажется, более убедительное объяснение — Анна не хочет оскорблять своих материнских чувств никакими «вещами».

Вот какой великий писатель Толстой, какой великий знаток души человеческой!

Анна и Вронский живут в гостинице одного из небольших итальянских городов. Вронский встречает там своего приятеля Голенищева, приводит в гостиницу, чтобы познакомить с Анной. После недолгой беседы они решают прогуляться пешком и посмотреть па-

лаццо, который только что снял Вронский. Далее следует такой текст:

«— Очень рада, я сейчас пойду надену шляпу. Вы говорите, что жарко, — сказала она, остановившись у двери и вопросительно глядя на Вронского... Вронский понял по ее взгляду, что она не знала, в каких отношениях он хочет быть с Голенищевым, и что она боится, так ли она вела себя, как он бы хотел.»

Вронский отвечает: нет, не жарко — и тем самым дает Анне понять, что все в порядке.

Именно так бывает: люди говорят одно, а подразумевают другое, или вообще не произносят ни слова и лишь переглядываются. И если бы эти взгляды можно было передать словами, наши диалоги были бы намного интереснее! Толстой прекрасно понимает эти намеки, красноречивое молчание, язык, на котором мы чаще всего говорим друг другу правду. Это подтверждают многочисленные примеры из его романов и рассказов. Особенно показательна известная беседа между Хаджи-Муратом и Воронцовым, о которой я напомним лишь несколькими строками: «Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова. Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уже совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину...».

«Хаджи-Мурат» — последнее великое произведение Толстого, воистину совершенный финальный аккорд гениальной симфонии, называемой творчеством Толстого. Это образец классической стройности, ясности, гармонии и поэтичности, благодаря поразительному лиризму — факелом вспыхнувшее творение человеческого ума. «Хаджи-Мурат» — гимн свободе человека. Человек рожден для свободы, — говорит нам это произведение, — и как прекрасен человек, когда он это знает, когда он борется за свободу. Путь, начатый в «Казаках» — в этой «огненной поэме», как назвал Ролан Роллан эту повесть, завершился в «Хаджи-Мурате». Замкнулся круг движения духа, устремленного к свободе. Пантеистическое, почти неосознанное стремление раствориться в природе переросло в признание свободы как единственно возможного, естественного состояния человека.

«Хаджи-Мурат» — лирический роман. Один итальянский писатель сказал: роман без лирики — все равно что опера без музыки.

В повести Хаджи-Мурат с первого же появления очаровывает читателя, когда он «слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес». Хромому Хаджи-Мурата Толстой подчеркивает несколько раз, и не потому, что он реалист и ничего не забывает, но еще и потому, что эта хромота, из-за которой Хаджи-Мурат «покачивался всем тонким станом», дает возможность писателю выделить среди множества людей его фигуру, орлом топчущуюся и колеблющуюся на паркете воронцовского дворца или итальянского театра. И ассоциация с орлом тоже не случайная — мы видим, что Хаджи-Мурат готовится к последнему взлету, что он этот взлет считает своей внутренней святейшей обязанностью и в то же время он знает, как дорого обходится такой взлет человеку. И вот, как только он принимает решение, первое, что он слышит — пень соловья! А это означает, что восстановлен и прочен невидимый

тайный союз между ним и природой. Целая глава романа, которую условно можно назвать смертью Хаджи-Мурата, полна соловьиным пением. Соловьи умолкают на мгновение — когда Хаджи-Мурата убивают. Потом снова начинают петь: природа снова живет, умерла крохотная ее частица, умерла — или присоединилась к беспредельному соловьиному пению... или «беспредельному свету»...

Существует примечательное сходство между «Хаджи-Муратом» и написанными в юности «Казачками» и существует один небольшой пассаж из «Войны и мира» — мечта Пьера Безухова, о которой мы уже говорили выше и которая служит как бы объединяющим звеном между этими двумя волнующими поэмами, потому что именно в нем выражена мысль: человек и природа — одно, и поэтому на человека так же нельзя посягать, как и на природу. Вот из таких прочных, цельных звеньев состоит все творчество Толстого, что придает его эпосу грандиозность и целесообразность.

Ромен Роллан, который сказал о Толстом, что «...никогда еще в Европе не звучал голос, равный ему по силе», к сожалению, не понял «Хаджи-Мурата». Иначе как объяснить его заявление, будто все герои, появляющиеся на протяжении этой повести, вызывают одинаковую симпатию... «Любя всех, автор никому не отдает предпочтения. Так и кажется, что он написал эту примечательную новеллу без внутренней необходимости».

Известно, что Толстой — этот великий реалист — проявлял определенную тенденциозность в изображении некоторых исторических личностей. С особенной тенденциозностью нарисованы им два героя: Наполеон и Николай I, оба — враги его отечества, а Николай I — к тому же палач декабристов, зловещий ворон, преследующий лучших поэтов России. Последнего Толстой буквально сравнял с землей. «Николай — типичный деспот», — сказал Толстой в одном из своих интервью. «Неприкрытая ненависть» — так можно назвать ту часть «Хаджи-Мурата», где речь идет о Николае I. В то же время именно здесь мы явственно различаем тень писателя-гиганта, чья высокогуманная, высокогражданственная, я бы сказал, высокопатриотическая позиция служит великим уроком для современной литературы всех континентов, где еще бесчинствует тирания.

И в этом случае достаточно одного штриха, наложенного Л. Толстым, чтобы мы со всей ясностью представили мрачный облик деспота, хотя, как я уже сказал, писатель не довольствуется одним штрихом и его палитра и здесь всегда богата и разнообразна. В романе есть конкретная картина, как Николай I управляет государством, как он отдает распоряжения, которые, говоря словами Толстого, «бесмысленны, несправедливы и несогласны между собою...»

Вот государь готовится вынести приговор польскому студенту: «Подожди немного, — сказал он и, закрыв глаза, опустил голову. Чернышев знал, слышал не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений и что тогда на него находило наитие».

Но ведь эта поза напоминает нам другую историческую личность? Да, в том же «Хаджи-Мурате», так же закрыв глаза, слушает голос провидения предводитель горцев — Шамиль!

«...Шамиль закрыл глаза и умолк. Советники знали, что это значило, то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано».

Как однообразны сильные мира сего, вернее, к каким одинаковым средствам они прибегают!

Разве после приведенных примеров мы можем сказать, что в «Хаджи-Мурате» все герои нарисованы с одинаковой симпатией? Разумеется, нет. С симпатией и даже с любовью Толстой изображает русских солдат, простых горцев, дочь фельдшера Марию Дмитриевну, которая при виде отрубленной головы Хаджи-Мурата восклицает: «Вы все живорезы!». И все же — главная симпатия писателя принадлежит человеку, вольному, как сама природа, за эту волю до конца борющемуся, — Хаджи-Мурату.

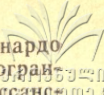
Лев Толстой расширил сферу влияния русской литературы и привлек к ней много новых друзей. Имя Толстого сегодня известно всему миру и с каждым днем завоевывает все больше сердец и умов. Не существует цивилизованного народа, который не имел бы сочинений Толстого на своем языке. Книги Л. Толстого — великие книги, упоминаются среди самых значительных достижений человеческого интеллекта.

Лев Толстой не только своим творчеством, но и личной жизнью оказывал на людей огромное моральное влияние. Он был добр, принципиален, отзывчив. Со страниц воспоминаний одной из его дочерей на нас смотрит великан, склонившийся над детской кроваткой и прячущий за спиной куклу.

Толстой на протяжении всей своей жизни боролся с самодержавием, со всевозможными проявлениями деспотизма. Его титаническая стойкость была примером для всех, даже для идейных противников, для тех из них, которые мечтали о лучшем будущем человечества. Каким бы противоречивым ни было его учение, оно оставалось учением благородного человека. Один мудрец сказал: основа нравственности лежит в достойном образе мыслей. Благодаря достойному образу мыслей Толстой при жизни был признан духовным предводителем человечества.

«Учитель знающих» — так называют Аристотеля в «Божественной комедии». Толстого мы можем назвать «писателем писателей», ибо его творчество — великая школа подлинной литературы. Толстой — самый яркий представитель XIX века, по выражению одного писателя, в природе своей сохранил и XVIII век. Мы можем добавить, что благодаря своему художественному гению и пророческому дару Толстой сумел отразить в своем творчестве и грядущий XX век. Многие из того, что сегодня считается достижением современной прозы, берет свое начало в творчестве Толстого, названном Важа Пшавелой «пропастью, наполненной драгоценными камнями».

Ныне мы говорим: небо Толстого, земля Толстого, время Толстого, пространство Толстого, народ Толстого, человек Толстого! — у этого богочеловека все было свое. Толстой — созидательный поэт. В его творческой биографии нас одновременно очаровывает и поражает беспредельность мечты и смелость мысли писателя, вышедшего на поединок с миром, решившего превратить его в «землю людей», то есть преобразовать вечность в реальное, конкретное время.



Максим Горький сравнивал руки Толстого с руками Леонардо да Винчи. Это не просто красивое сравнение. По своей многогранности и масштабности творчество Толстого — явление ренессансное, и хотя для него характерны определенные противоречия и неувязки, иной раз даже парадоксальные (не любил Шекспира!) — тем не менее определяющим качеством в нем была гармония, к которой он стремился всем существом и которой не мог обрести в своей бурной, бескомпромиссной жизни. Как писатель, мыслитель Толстой был одержим мучительной страстью поиска истины. Слова раненого Андрея Болконского: «Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю», — несомненно, слова самого Толстого, они автобиографичны и исполнены боли. Вот это «что-то», чьего имени он так и не смог узнать, не смог угадать, и лишало его равновесия.

Для Толстого основой человеческой этики было служение Богу, которое он понимал совсем не так, как «казенное христианство». У него с богом были свои отношения. Используя выражение Максима Горького, отношения Толстого с богом напоминают жизнь двух медведей в одной берлоге.

Когда читаешь произведения Толстого, чувствуешь, как велика область человеческой деятельности, называемая литературой. Редко кто из писателей рождал такое ощущение необходимости литературы, ее значения. И вместе с тем понимаешь, что значит настоящее зрение, настоящий слух, и вообще — все те чувства, которыми обладает человек. Ощуцаешь, как безграничны их возможности.

Еще один урок Толстого учит нас, что только посредством родного языка писатель может выразить чаяния своего народа, «точность тайн» природы своего народа, что именно родной язык — сокровищница поэтических настроений и мелодий, клад тех магических слов, из которых строится новый характер (образ) человека.

Значение уроков Толстого для современной литературы точно сформулировал Томас Манн. Вспоминая Толстого, он писал: «Ничто не сможет послужить для нас оправданием и меньше всего страх перед клеветой, оскорблениями и ненавистью глупцов, если мы не услышим веления времени, если не выполним своего нравственного долга, который состоит в том, чтобы, храня верность своему народу и служа ему, быть до конца честными в нашем стремлении к истине». Лучший из европейских писателей XX века поднял творческое наследие Толстого на высоту традиций современной мировой литературы, справедливо признал его ее опорой, столпом и, что самое главное, — пробным камнем ее нынешних нравственных позиций.

Таким образом, великие уроки Толстого помогают нам в жизни руководствоваться высокоморальными принципами, быть неустрашимыми в борьбе за справедливость, стоять на стороне добра и света, бороться со злом, воплощением которого для Толстого была война и всяческое угнетение человека человеком.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как общечеловеческие идеи Толстого во всех уголках мира находят отклик, сочувствие и более того — любовь! Гордость грузинской поэзии — Важа Пша-



вела в стихотворении на смерть Толстого сказал: сокровищницей творчества Толстого овладеет тот, кто сделал любовь смыслом своей жизни:

Кто проникнется любовью,
Тому она принадлежит.

Сегодня в Грузии Лев Толстой — один из самых популярных и любимых писателей. Эта любовь зародилась давно, почти тогда же, когда в 1851 году Толстой приехал в Тбилиси, где прожил около двух с половиной месяцев. Он внимательно приглядывался к народу, стране, которую называл «страной любви». В отличие от писателей-путешественников, видевших в Грузии лишь экзотику, Толстой увидел, говоря его словами, «общество избранное и большое».

Его высокое мнение о грузинском обществе проявилось и в «Хаджи-Мурате». Вспомним Манану Орбелиани, которая находится в центре внимания на приеме у Воронцова.

Толстой написал в Тбилиси свое первое произведение «Детство». Вообще Толстой и Грузия — особая и очень интересная тема для историка литературы и писателя. О многом говорит хотя бы тот факт, что лучшие представители грузинской интеллигенции посылали Толстому, по его просьбе, ценные материалы, необходимые для работы над «Хаджи-Муратом».

О жизни и творчестве Толстого в Грузии написано много интересных книг, очерков и статей, среди них в первую очередь назовем замечательные статьи К. Гамсахурдиа, Д. Шенгелая, А. Гачерелиа. На грузинском языке вышло десяти томное собрание сочинений Толстого.

И еще раз повторяю с удовольствием, что большую любовь грузинского народа к гениальному писателю лучше всего выразили Акакий и Важа.

Юбилей такого великого писателя и человека, каким был Толстой — праздник, который мы можем сравнить с костром. Вокруг этого костра собралось множество людей, ибо этот костер помогает им преодолеть страх, одиночество, тьму, бессилие и, главное — освещает лица людей, знакомит их и сближает, внушает надежду, что вместе им будет легче нести бремя жизни и выполнить перед человечеством свой человеческий долг.

Слава писателю, внушающему людям такую великую веру!

1978

Перевод Анаиды БЕСТАВАШВИЛИ

«ДЖАКОМО ДЖОЙС», ВОСКРЕШЕННЫЙ ПО-РУССКИ

Перевод произведений Джеймса Джойса — дело бесконечно сложное. Переводчик не только должен в совершенстве знать английский язык, не только чувствовать все его малейшие семантические нюансы, законы и особенности грамматической и фонетической структур; для работы над его текстом надо быть специалистом, «джойсоведом». Но даже и этого будет недостаточно, чтобы Джойс в полный голос прозвучал, родился на другом языке.

Полиглот, создавший в творческой лаборатории свой вариант литературного праязыка, который, по его замыслу, смог бы воплотить в эпосе «Улисса» и «Поминок по Финнегану» всю историю человечества через стихию повседневности, писатель недоукинной, энциклопедической эрудиции требует огромных знаний и от переводчика.

В Николае Александровиче Киясашвили эти необходимые, но трудно сочетаемые качества соединились самым гармоничным образом. В его переводе пружинский читатель сумел познакомиться со многими эпизодами «Улисса», ему принадлежат обширные, чрезвычайно обстоятельные комментарии и вступительные статьи к произведениям Джойса, он автор докторской диссертации, посвященной решению такой глобальной темы, как традиция Шекспира в современной английской литературе, в которой немалое место отведено осмыслению связи творчества Джойса с творчеством великого писателя английского Возрождения.

1968 год стал счастливым для «джойсоведов» всего мира. В январе этого года Ричард Элман, крупнейший специалист по творчеству Джойса, представил для печати ранее известную лишь в отрывках рукопись «Джакомо Джойс», которую он приобрел у коллекционера, пожелавшего остаться неизвестным. Рукопись по объему небольшая — около 16 страниц, названия как такового нет, только в левом углу надпись: «Джакомо Джойс», сделанная рукой писателя. Произведение, как почти все созданное Джойсом, автобиографично. Речь идет об увле-

чени Джойса одной из его учениц¹ Амалией Поппер, дочерью итальянского негодянца Леопольда Поппера.

Джойс, как можно судить по некоторым указаниям² державшимся в рукописи, написал «Джакомо» в 1914 году, то есть тогда, когда заканчивал «Портрет художника в юности» и приступал к созданию «Улисса». После смерти Джойса рукопись попала к Станиславу Джойсу, родному брату писателя, а затем была приобретена неким европейским коллекционером, от которого она и попала к Ричарду Элману.

В 1969 году «Джакомо Джойс» был переведен Н. А. Киясашвили на русский и грузинский языки². Трудно переоценить важность этого труда. Почти после 25-летнего перерыва (перевод «Дублинцев» и десяти эпизодов «Улисса», а также некоторых стихотворений из сборника «По пенни за штуку» относится к 30-ым годам) Джойс вновь прозвучал по-русски. Вторых, в «Джакомо» через много лет после смерти автора, тогда, когда уже казалось, что наследие его известно до мелочей, читатель вновь встретился с первоклассным Джойсом. Советские читатели и ученые, познакомившись с «Джакомо Джойсом», получили возможность увидеть, как рождался в творчестве Джойса, а следовательно, и во всей мировой литературе метод «потока сознания». Потому что именно об этом «рассказывает» «Джакомо Джойс».

Жанровые особенности рукописи лишь усложнили задачу, стоявшую перед Н. А. Киясашвили. Хотя советские переводчики работали над переводом Джойса — и в этом смысле огромный вклад 1-го переводческого объединения, коллективному труду которого под руководством И. Кашкина принадлежит честь создания первого русского «Улисса», — все же традиции джойсовского перевода не сложились³, не была заложена школа передачи, скажем, «потока сознания» — сложнейшего аспекта в произведениях писателя. Перевод на русский язык таких писателей, как Д. Апдайк или У. Фолкнер — словом тех, в творчестве которых «поток сознания» занимает немалое место, показал, что задача эта решена далеко не полностью. Отсутствие продуманной школы сказалось и в работе над рукописью «Портрета художника в юности» в переводе М. П. Богословской-Бобровой. Переводчица умерла, оставив работу незавершенной; в процессе редактуры возникло много вопросов,

¹ Долгое время, уже будучи автором «Дублинцев» и «Портрета художника в юности», Джойс зарабатывал себе на жизнь, давая уроки английского языка. По свидетельствам его учеников, он был блестящим преподавателем.

² См. Джеймс Джойс. Джакомо Джойс. «Литературная Грузия», 1969, № 9—10. Перевод на грузинский язык был опубликован в журнале «Цискари», 1969, № 11. Далее русский текст цитируется по этому изданию.

³ См. «Интернациональная литература» за 1935, 1937 годы, где десять эпизодов «Улисса» были опубликованы в переводах Н. Волжиной, Е. Калашниковой, И. Романовича, Н. Дарузес, В. Топер, О. Холмской.

но найти ответ на них именно из-за отсутствия стройной системы перевода оказалось чрезвычайно трудно.

При обилии в англо-американском литературоведении теоретических работ, осмысляющих творчество Джойса, при наличии серьезных и глубоких исследований этого направления в нашей стране, его проза все же не проанализирована с точки зрения техники перевода, не найден ключ к сложному стилистико-синтаксическому единству, которое в сумме и составляет феномен джойсовской прозы.

В «Джакомо Джойсе» содержится определенный переводческий парадокс. Проза этой рукописи, безусловно, легче, чем зашифрованный, полный ребусов текст «Улисса». Но, с другой стороны, он сложен именно своей внешней простотой, тем, что это творческая мастерская писателя, где рождаются, формируются приемы, которые в будущем определяют стиль «Улисса». При переводе «Джакомо Джойс» стилистически не должен решаться ни как «Портрет», ни как «Улисс». Уподобление рукописи любому из названных произведений будет явной и в общем грубой ошибкой, поскольку в таком случае зачеркнется само понятие эволюции джойсовского текста. «Джакомо Джойс» и в переводе должен сохранить неопределенность, незаконченность творческого почерка Джойса, передать переходный характер прозы, воскрешающей в слове рождение эмоций, мысли, чувства.

Николай Александрович Кнасашвили справился с этой сложной, если не сказать сложнейшей, задачей превосходно.

Первейшим достоинством этого в высшей степени профессионального перевода нужно считать именно адекватность в передаче эмоции, настроения, содержащихся в оригинале.

Речь идет о возникновении чувства, влечения мужчины средних лет, прототипом которого был сам Джойс, к своей ученице, становящейся в его сознании образом Женщины, символом вечной таинственности. Мировая литература знает немало примеров описания чувств. Поэты средних веков и романтики создавали целые произведения, в которых дотошно выписывалось, что чувствует герой или героиня в каждый данный момент. В общем об этом же пишет и Джойс в «Джакомо». Но разница в том, что пишутся «истории чувств» в разные эпохи. Герой Джойса весь во власти раздирающей душу рефлексии. Аналитичность мышления, поиски причинно-следственных связей внутри своего «я» в «Улиссе», в «потоке сознания» Стивена, не так обнажены, как это имеет место в «Джакомо». Здесь еще только нащупываются пути алгебраического разложения чувства и мысли, и потому формула выступает почти во всей ее строгости.

«Кто? Бледное лицо, обрамленное сильно пахучими мехами. Движения ее застенчивы и нервны. Она пользуется лорнетом. Да: короткий слог. Короткий смех. Короткое смыкание ресниц»¹. Так начинается «Джакомо Джойс».

Мне думается, что Н. А. Кнасашвили сумел избежать весьма распространенной и вполне объяснимой ошибки при

¹ «Литературная Грузия», 1969, № 9—10, с. 81.

переводе Джойса. Он не смотрит на «Джакомо» с высот «Улисса», не достигает еще неулиссовскую прозу рукописи до логического, конечного улиссовского завершения. Он открывает в прозе «Джакомо» на основе глубокого знания особенностей джойсовского поэтического и философского мышления свои законы и находит для них адекватную форму на другом языке.

Одной из таких стилистических особенностей текста стало наличие в нем вопроса, явного, как мы это наблюдали в приведенном примере, или же скрытого, снятого вопроса, но все равно вопроса, потому что сознание и подсознание постоянно дает ответы, «выбрасывает» психологическое уточнение. В подлиннике грань между реагирующим сознанием и бесконтрольно вступающим в действие подсознанием хрупка, даже не всегда уловима. Но, мне представляется, Н. А. Киасашвили сумел передать в своем переводе и эту зыбкость.

Первое предложение рукописи начинается с выраженного вопроса «Кто?». Но уже следующее несет в себе то, что мы позволили определить себе, как снятый вопрос. Чтобы переход был не столь резким, психологически мотивированным для читателя, Джойс выделяет первое слово следующего абзаца. «Да» становится превращенным вопросом, и в подсознании звучало бы «А что же такое «да»?». «Короткий слог. Короткий смех. Короткое смыкание ресниц». Дальше в тексте уничтожится и такая связка. Конструкция: вопрос — ответ — превратится в конструкцию: посылка — ответ: «Сердце это изранено и опечалено. Безответная любовь?». Н. А. Киасашвили показал в своем переводе нарастание ослабленных причинно-следственных связей, вырывающихся на поверхность из стихии подсознательного. Но это еще стихия, которая контролируется сознанием властным «его».

Переводчик сумел добиться нужного эффекта, в первую очередь потому, что очень внимательно отнесся к структурному оформлению текста, на первый взгляд, довольно странному: не традиционному делению текста на абзацы и неравномерному отделению абзацев друг от друга, нарушению синтаксических связей. Для Джойса такие «странности» очень важны, они отнюдь не случайны, как нередко считали джойсовские редактора и переводчики. Н. А. Киасашвили бережно сохранил джойсовскую текстуальную структуру. Поскольку в ней есть своя логика, весьма существенная для понимания специфики всего текста.

Размер паузы, отделяющей одно стилистическое единство от другого, показывает, как сознание реагирует на различные мысли и эмоции. Паузой может отделяться довольно большой прозаический пассаж, несущий в себе, скажем, какое-нибудь довольно странное описание, и, напротив, совсем короткий — одно предложение. Например: «Сырое, покрытое пеленой весеннее утро. Слабое благоухание парит над утренним Парижем: анис, влажные опилки, горячий мякиш хлеба: и когда я перехожу мост Сен Мишель, синевато-стальная пробуждающаяся вода охлаждает сердце мое. Она струится и плещет вокруг острова, где живут люди со времен каменного века... Рыжевато-коричневое уныние в обширной, отделанной

горгульями церкви. Холодно, как в то утро: quia frigus erat. На ступенях высокого алтаря голые, словно тело Господне лежат священнослужители, распростерты в бессильной молитве. Голос невидимого чтеца подымается, читая нараспев из Осии, Haec dicit Dominus; in tribulatione sua mane consurgens ad me. Venite et revertamur ad Dominum... Она стоит рядом со мной, бледная и озябая, окутанная тенями грехотемного нефа, тонкий локоть ее возле моей руки. Ее тело напоминает о трепете того сырого, покрытого пеленой тумана утра, торопливые факелы, жестокие глаза. Ее душа опечалена. Трепещет и хочет плакать. Не плачь по мне, о дочь Иерусалима!»¹.

«На лестницах. Холодная хрупкая рука: робость, тишина: темные, налитые истомой глаза: усталость»².

Короткие абзацы, как показывают изучение джойсовского текста, передают подсознательный слой мышления героя. В них особая пунктуация, особая, гораздо более напряженная, нежели в абзацах-описаниях, ритмика, которая сохранена и по-русски.

«Слова мои в ее разуме: холодные гладкие камни, погружающиеся в трясину»³.

«Тело ее не пахнет: цветков без запаха»⁴.

Эти короткие предложения — резюме, отточенные, четкие в своем конечном выводе, наиболее гибко передающие работу сознания, долго оттачивались, шлифовались в творчестве Джойса, пока не обрели изящную законченность в «Джакомо».

Одним из первых прозаических созданий Джойса были «эпифании», короткие прозаические наброски, в которых описывалось какое-нибудь незначительное событие, бытовое происшествие — словом, малоинтересный жизненный анекдот. Но описывалось подобное событие таким образом, что действительность вдруг приоткрывала свои покровы и обнажала, как писал сам Джойс, некую тайну, суть, или же, говоря более просто, смысл явления, часто сокрытый пеленой быта⁵.

Эпифании всегда играли большое значение в произведениях Джойса: в «Дублинцах», в «Портрете» эпифании стали значимыми, обнажающими суть повествования концовками.

Н. А. Киясавили прекрасно почувствовал «эпифаническую» природу джойсовского текста в «Джакомо». Эпифания существует не только в отдельном, выкристаллизованном виде, но и в структуре абзаца-описания. Однако в этом случае предложение-эпифания, или слова-описания ритмически и стилистически оформлены по-иному, чем тогда, когда они выступают

¹ Там же, с. 84.

² Там же, с. 85.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ «Эпифания» — это богословский термин, означает «богоявление, божественную эманацию». Чаще всего этот термин употребляется в связи с праздником рождения Христа, когда пастухи узнали в младенце, лежащем в яслях для овец, Спасителя, мессию еврейского народа. Божественная сущность, открылась им в обычном.

отдельно. В последнем случае они превращаются в эмоциональные возгласы типа: «Не плачь по мне, о дочь Иерусалима!»¹. «Берите ее сейчас, кто хочет!..». В этом случае реализм, осмысленность высказывания гораздо больше, нежели в случае эпифании, воспроизводящий ассоциативный ряд, возникающий в сознании. Обрывочность, нервный ритм, описание через назывные предложения, импрессионизм восприятия, двоеточие как почти обязательный атрибут — способы передачи рождающегося «потока сознания»:

«Неготовность. Голая квартира. Безжизненный дневной свет. Длинный черный рояль: музыкальный гроб. Дамская шляпа на его краю, с алым цветком, и зонтик, сложенный. Ее герб: шлем, алый цвет и тупое копые на фоне щита, черном»².

Некоторые джойсовские издатели позволяли себе вольное обращение с абзацами и интервалами, что всегда вызывало гнев писателя. И это было не столько проявлением его дурного характера, как нередко жаловались его редактора, — сколько требованием внимательно относиться к тексту, в котором любой компонент — в том числе и интервалы — имели принципиальное значение. Интервал в «Джакомо» — еще один показатель переходного характера прозы «Джакомо»; интервал, отделяющий одну мысль от другой, эмоции от ассоциаций, показывает, что логика, последовательность еще не изгнана Джойсом. В его прозе внутренний, сохранивший непосредственные связи с действительностью монолог только еще переходит в «поток сознания».

Из сказанного становится очевидно, что передача «потока сознания» — центральная проблема «Джакомо Джойса». Но этот текст, в миниатюре содержащий в себе все особенности джойсовского текста, требует от переводчика решения и целого ряда других джойсовских вопросов, например, проблемы слова. Слово у Джойса всегда выходит за пределы своего словарного значения. Слово не только «играет» (в смысле «игры в слова — puns»), оно аранжировано таким образом, что в тексте образует «айсберг» значения. Но чтобы подтекст значения стал ощутим для читателя, воспринимающего произведение на чужом языке, надо, чтобы вся его семантическая структура была прочувствована переводчиком, воспринята во всех нюансах.

Н. А. Киасавили в этом аспекте была проделана огромная работа. Свидетельством тому могут быть хотя бы его комментарии к тексту «Джакомо», показывающие, сколь глубоко он проник в текст рукописи. Дело в том, что переводчик Джойса становится комментатором поневоле. В противном случае многие аллегории текста, его интеллектуальность минует читающего. К насыщенности текста различными описаниями, скрытыми и явными цитатами, библейскими парафразами нельзя относиться формально, только как к еще одному компоненту джойсовской прозы. Лишь после того как переводчик проникнется всем духом джойсовской прозы, войдет в образ

¹ Там же, с. 84.

² Там же, с. 86.

его героя, который, будучи alter-ego писателя, всегда находится на определенной дистанции от своего создателя. Восприняв все параметры текста в синтезе, можно надеться, что его смысл, суть, то, что составляет уникальность произведения, его неповторимость, дойдет до читателя.

На мой взгляд, и эта чрезвычайно сложная задача выполнена переводчиком. Н. А. Киасашвили воссоздал по-русски не просто рассказ о влюбленности, заметим, что глагол «рассказывать» вообще не подходит для джойсовской поэтики — но передал атмосферу зарождающегося чувства, передал дух эпохи, когда жил его герой, нарисовал такими же уверенными штрихами, как и у Джойса, образ художника, творца, поэта, извечного героя всех произведений писателя.

Художник влюблен. Это целый комплекс понятий, ощущений. Действительность застывает в образе, остановленная вспыхнувшей эмоцией. (Картинные, четкие в своих деталях, психологически насыщенные описания Джойса). Или же образ строится из нервных, быстро мелькающих впечатлений, внезапно рождающихся, противоречащих друг другу.

Для творческой манеры Джойса характерно постоянное уточнение, повтор слов, который, как это может показаться неискушенному читателю, нарушает стилистическую гармонию. У переводчиков Джойса достаточно распространена ошибка, как это, скажем, было и с Виктором Франком, первым русским переводчиком «Портрета художника в юности», подправить, улучшить Джойса. Переводчик в целях благозвучия пытался разнообразить текст синонимами, даже разрешая себе несколько изменить значение. Но стилистическая гладкость в конечном результате оборачивалась неджойсовской прилизанностью, выхолощенностью текста, который лишился динамики. Такой, на мой взгляд, упрощенный подход к джойсовскому тексту идет, как, впрочем, и большинство ошибок при переводах этого писателя, от непонимания текста его произведений, нивелирования природы его новаторства. Так, повторы, столь распространенные у Джойса, глубоко значимы, они отнюдь не небрежность, не огрехи его пера. Повтор — постоянный поиск предельно точного значения, это очередная прикидка — как слово зазвучит в новом контексте.

Н. А. Киасашвили принадлежит к тем редким переводчикам Джойса, кто не побоялся повторов. Однако заметим, что из-за них текст Джойса по-русски не стал неуклюжим. Груз стилистической тяжести текста, который содержит в себе одинаковые слова, Н. А. Киасашвили перенес на грамматическую структуру фраз.

«Цветок, что она дала моей дочери. Хрупкий подарок, хрупкая дарительница, хрупкий голубожильный ребенок»¹.

«A flower given by her to my daughter. Frail gift, frail giver, frail blueveined child»².

¹ Там же, с. 81.

² J. Joyce. Giacomo Joyce. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. Main, 1968. S. 32.

словами, но представлен сложным, динамичным синонимическим рядом, передача которого по-русски требует не только большой гибкости словарного запаса переводчика, но и отчетливого понимания сложной, мятущейся души героя Джойса. В сознании которого, перефразируя известные слова Ф. М. Достоевского, существуют два идеала: «идеал мадонны и идеал садомский».

«On the stairs. A cold frail hand: shyness, silence: dark languor-flooded eyes: weariness»¹.

«На лестницах. Холодная хрупкая рука: робость, тишина: темные, налитые истомой глаза: усталость»².

Когда в поисках наиболее точного определения характера джойсовского лейтмотива, мы говорим «музыкальный», то и в самом деле имеем в виду музыкальную природу его текста. Музыка всегда была крайне важна для Джойса. Вспомним, что долгое время в Ирландии, у себя на родине он был известен, как певец, неплохой исполнитель арий, а не как автор напущенного «Улисса». Примечателен и тот факт, что первый поэтический сборник Джойса назывался «Камерная музыка», и в целом он, думается, больше приспособлен для пения, нежели чтения. «Камерная музыка» — цикл, описывающий чувства влюбленного. Уже сам фонетический строй стиха: употребление гласных, наиболее удобных при вокальном исполнении, структура цикла с аранжировкой темы, каденции — делают музыкальную природу слишком явной, чтобы ее можно было не заметить. «Откровенная» музыкальность постепенно превращалась у Джойса во вспомогательный, служебный прием, в задачу которого входила передача сложной действительности — реально существующей и чувствуемой.

Н. А. Киясашвили передал, как мне представляется, главное в музыкальности Джойса в «Портрете» — аккордность и каденции, делающие каждый пассаж-отрывок цельным единством, обладающим завершенностью. Тема, сколь ни мал был отрывок, в котором она встречается, последовательно, симфонически проводится и разрешается в конечной фразе, слове:

«Кружащие кольца серого шара над пустошью. Лицо ее, такое серое и мрачное. Влажные спутанные волосы. Ее губы прижимаются нежно. она глубоко дышит, вздыхая. Поцелуй»³.

Джойс очень чувствителен к звукописи, аллитерациям, для которых Н. А. Киясашвили также нашел удачные способы передачи по-русски.

«High heels clack hollow on the resonant stone stairs. Wintry air in the castle, gibbeted coats of mail, rude iron sconces over the windings on the winding turret stairs. Tapping clacking heels, a high and hollow noise...»⁴.

Н. А. Киясашвили создает аллитерацию в других словах, но главное — сохраняет ритмическую структуру: напря-

¹ J. Joyce, p. 54.

² Там же, с. 85.

³ Там же.

⁴ J. Joyce, p. 28.

женную и динамичную в первом и последнем предложении, описательную, плавную в среднем.

«Высокие каблучки глухо постукивают по звучным каменным ступенькам. Холодный воздух в замке, подвешенные кольца, грубые железные фонари над извивами витых башенных лестниц. Звучно постукивающие каблучки, высокий и глухой звук...»¹.

Очень важным законом Джойсовского текста, который Н. А. Кисашвили также сохранил в русском варианте, нужно считать теорию контрастов. Восприятие жизни, основанное на противопоставлении высокого и низкого — идейный и стилистический закон прозы «Джакомо», который в «Портрете» будет превращен в один из центральных постулатов эстетической теории писателя. Джойс считал, что подлинное искусство не должно избирать предметом изображения «неземные» сферы. Искусство должно обратиться к самому обычному, самому жизненному материалу и сделать каждодневное, обыденное объектом изображения. «Надо принимать жизнь такой, какой мы ее видим, мужчин и женщин такими, какими мы их встречаем в реальном мире, а не такими, какими они были в мире фантазии»².

Лишь вся видимая жизнь с ее грубостью, низостью и пошлостью может стать материалом для поэзии. Без знания теории контрастов и без осознания ее важности при переводе легко сделать из Джойса викторианского писателя-пуриста, которым он никогда не был. Эта опасность, как и возможность «отрадиционить» Джойса, сегодня больше, чем в начале века. В то время издатели соглашались печатать произведения Джойса, например, «Дублинцев» и «Портрет», только если Джойс уберет из текста некоторые излишне резкие, «неприличные» слова. Однако сейчас, читая произведения Джойса, мы не ощущаем их «неприличности», «крайней откровенности»: время внесло свои необходимые коррективы в понятие о пристойности. Но из этого не следует, что Джойс, перестав быть для современного читателя излишне откровенным автором, позволял причислять, смягчать его прозу. По такому пути, пути нивелирования резкостей Джойса пошел Виктор Франк в переводе «Портрета». И именно из-за того, что Виктор Франк кое-что пригладил и кое-что причесал, его «Портрет» потерял остроту, психологическую достоверность. Перевод Виктора Франка в значительной степени показателен в смысле того, что не надо делать с текстом Джойса, перевод «Джакомо Джойса» Н. А. Кисашвили выигрывает в сравнении с ним. Сглаживая Джойса, то есть, сознательно не делая упора на «тошнотворности», Виктор Франк допустил, бессознательно, и другую, не менее, на мой взгляд, грубую переводческую ошибку — он лишил «Портрет» его лиричности, поэзии. Иными словами, лишил свой текст гармонии, столь совершенной в подлиннике.

¹ Дж. Джойс, с. 81.

² The Critical Writings of James Joyce, ed. by Ellsworth Mason, London, 1961, p. 45.

16.03.59 20
819-111033

Н. А. Квасашвили благодаря своему глубокому знанию особенностей творческого почерка Джойса, рожденных его мировоззрением, передал сложное гармоническое единство прозы писателя. Откровенность, обнаженность сознания, натурализм описания бытует наряду с утонченным лиризмом, даже изыском, блистательно переданным по-русски.

«Оперировали. Нож хирурга проник в ее внутренности и отдернулся, оставив свежую зубчатую рану в ее животе...»¹

«Галерка в опере. Промокшие стены сочатся испаряющей сыростью. Симфония запахов растворяется в беспорядочной грудке человеческих тел: прокисшая вонь подмышек, обглоданные апельсины, тающие мази на груди, мастиковая жидкость, серное дыхание чесночных ужинов, воняющие фосфором газы, опопонакс, откровенный пот созревших для замужества и замужних женщин, мыльная вонь мужчин...»².

Сравним:

«Ян Питерс Свелинк. Необычное имя старого голландского музыканта делает всю красоту необычной и далекой. Я слышу его вариации для клавикорда на старый мотив: **Молодость имеет предел**. В смутном тумане старых звуков появляется слабая точка света: вот-вот заговорит душа. Молодость имеет предел: предел настал. Этого никогда не будет. Вам это хорошо известно. Ну и что же? Пиши об этом, черт подери, пиши! На что же еще ты способен?»³.

И, наконец, в заключение хочется отметить еще одно несомненное достоинство перевода — ироничность. Об этой черте стоит говорить отдельно и особо, потому что очень немногие из работавших осознали эту черту в произведениях Джойса. Источник иронии у Джойса — в отношении писателя к своему герою.

Герой этого произведения — Джойс, но в то же время уже и не Джойс. Хотя все произведения писателя автобиографичны, в них в том или ином виде осмысливается его жизненный опыт, дистанция между Джойсом и его героем существенна. Подобная дистанция позволяет Джойсу в ненавязчивой форме, форме так называемого безличного романа, дать оценку.

Для переводчика осознание этой дистанции в высшей степени существенно, поскольку исключает возможность грубой ошибки — неправильного, по сути своей, однолинейного восприятия прозы писателя: только глазами его героя. Осознание дистанции позволяет внести ироническую тональность в текст. Часто способом иронического комментария становится введенный в текст образ из какого-нибудь произведения, скрытая или явная цитата, нередко измененная. Надо отдать должное переводчику, его эрудиции, знаниям, чутью, которые позволили ему передать эту особенность восприятия мира Джойсом.

¹ Там же, с. 84.

² Там же, с. 85.

³ Там же, с. 86.

«Юбка, приподнятая неожиданным движением ее колена; белое кружево, окаймляющее нижнюю юбку, приподнятую выше положенного; растянута на всю ногу паутина...
Si pol?»¹. Иногда иронию Джойса понять бывает очень трудно из-за усложненности введенного в текст образа. Так, на мой взгляд, сложен образ, которым кончается рукопись, значение которого можно воспринять только в общем контексте произведений Джойса. Зонтик, человек с зонтиком для Джойса всегда были символами быта, пошлости.

«Посылка: Люби меня, люби мой зонтик»².

В предисловии, предпосланном переводу, Н. А. Киасашвили так определил свое понимание иронии и самоиронии Джойса:

«Сильное физическое влечение Джакомо к своей ученице, которую он то боготворит, как чистую девушку, то слегка иронизирует над ней, как над высокомерной знатной особой, то представляет ее себе замужней, «опытной» женщиной, обрисовано Джойсом с большой художественной эмоциональностью и в то же время до некоторой степени в новой для него писательской манере. Беспокойство тридцатидвухлетнего Джойса в связи с уходом молодости, заставившее его вспомнить почтические опыты молодых лет и обусловившее его увлечение молодой «Беатриче», не привлекает внимание писателя к сентиментально-романтическим излияниям его собственной юности, а дает ему богатый психологический материал для обрисовки контуров характеров своего будущего де-героизированного, де-романтизированного героя Стивена Дедалуса...»³.

Именно такое, на мой взгляд, углубленное понимание поставило верные акценты в этом маленьком, но очень сложном произведении, блистательно воскрешенном по-русски.

В заключение разговора об этом переводе хочется не подводить итоги, не показывать, как удачны находки Н. А. Киасашвили («синегато-стальная пробуждающаяся вода... бесильная молитва... грехотайный неф...»), а выразить искреннюю и глубокую благодарность переводчику, который подарил читателю эту жемчужину из наследия Джойса.

¹ Si pol? — как указано в комментариях Н. А. Киасашвили, правильнее Si riò? Позвольте (ит.), первые слова Пролога в опере Леонвалло «Пяцы».

² Там же, с. 86.

³ Там же, с. 80.

Э. БАГРАМОВ,
доктор философских наук,
профессор

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ — НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

I.

Каждый, кто внимательно следит за международной обстановкой, видит, что в мире происходят два исключительно важных процесса. С одной стороны, во взаимоотношениях стран с различным социальным строем постепенно пробивает себе путь тенденция к разрядке международной напряженности, к укреплению делового сотрудничества. Новым ярким подтверждением неодолимости этой тенденции являются недавние переговоры в Вене между Л. И. Брежневым и Дж. Картером и подписание ими Договора об ОСВ-2. С другой стороны, — и это также не подлежит сомнению — принимает все более интенсивный характер идейное противоборство двух систем — социализма и капитализма.

Стержнем этой интенсивной борьбы идей, той главной проблемой, вокруг которой она разворачивается, является отношение к марксизму-ленинизму и реальному социализму, к рабочему и коммунистическому движению, к национально-освободительной борьбе народов в других районах мира.

Идейные противники социализма нередко задают вопрос: нет ли противоречия между борьбой марксистов-ленинцев за разрядку международной напряженности и их одновременным бескомпромиссным отношением к принципам старого мира, т. е. капитализма. Почему политические деятели стран социализма, проявляющие такую гибкость, выдержанность, терпение и поиски взаимоприемлемых решений в международных вопросах, когда они сидят за столом переговоров с деятелями стран капитализма, оказываются такими непримиримыми, коль скоро речь идет об отношении к буржуазным и в особенности

антикоммунистическим идейным течениям? Ведь не секрет, что, именно ссылаясь на этот воинствующий характер, неизменно проявляемый марксистами-ленинцами в критике капитализма, в защите и обосновании научного коммунизма, многие буржуазные деятели пытаются поставить под сомнение искренность коммунистов в вопросах борьбы за мир и разрядку международной напряженности.

Между тем никакого противоречия здесь нет. Последовательная защита коммунистами своих идейных принципов в полной мере согласуется с их титаническими усилиями, направленными к укреплению дела мира и дружбы народов.

Во второй половине XX века именно коммунистические идеалы овладевают умом и чувствами народных масс. Именно они во многом придают революционный, динамический характер тем социальным изменениям, которые происходят теперь на огромных пространствах земного шара. «...Всемирная история, — писал В. И. Ленин в ноябре 1918 года, в статье «Ценные признания Питирима Сорокина», — несется теперь с такой бешеной быстротой и разрушает все привычное, все старое молотом такой необъятной мощности, кризисами такой невиданной силы, что самые прочные предрассудки не выдерживают»¹.

Социализм, шагнув за пределы одной страны и став явью в государствах, расположенных на трех континентах, развеял в прах один из самых застарелых предрассудков — миф о вечности капитализма, строя эксплуатации и угнетения.

Построенное в СССР развитое социалистическое общество, бурный прогресс, достигнутый нашим народом во всех областях общественной жизни, со всей силой свидетельствуют о жизнеспособности идеалов свободы, равенства, братства трудящихся, о чудесной силе освобожденного труда, несущего счастье всем народам.

С полным основанием новая Конституция СССР, говоря о великих завоеваниях социализма, подчеркивает, что советский народ, идя по пути построения бесклассового коммунистического общества, руководствуется идеями научного коммунизма и соблюдает верность своим революционным традициям.

Ныне, когда идеи научного коммунизма, революционные, боевые и трудовые традиции стали достоянием миллионов и миллионов сознательных строителей коммунизма, возрастает действенность этих идей, усиливается значение работы КПСС по коммунистическому воспитанию трудящихся. Как отмечается в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», коммунистическое воспитание трудящихся партия рассматривает как важный фронт борьбы за коммунизм. От успехов идеологической, политико-воспитательной работы все больше зависит ход экономического, социально-политического и культурного развития страны, полная реализация возможностей развитого социализма, осуществление ленинского внешнеполитического курса Советского Союза, укрепление его международных позиций.

¹ В. И. Ленинъ Полн. собр. соч., т. 37, с. 192.

Мы, марксисты-ленинцы, глубоко уверены в торжестве идей социализма, идей коммунизма во всем мире. И не потому, что коммунисты отличаются «драчливостью», не потому, что когда-либо пытались силой навязать свои идеи народным сам. Идеи коммунизма в этом не нуждаются.

Весь ход истории, обусловленный в конечном счете процессами развития общественного производства, ведет к смене отживших отношений, основанных на частной собственности и эксплуатации человека человеком, к утверждению новой социальной системы, где люди освобождаются от всех форм социального и национального гнета, где каждый из них является совладельцем тех общественных богатств и тех ценностей, которые создаются людьми труда.

Марксисты-ленинцы представляют весь ход истории как процесс, подчиняющийся объективным законам. Люди не бес-сильны перед этими законами. Они вполне в состоянии познать их и поставить на службу прогрессу человечества. В этом смысле мы отвергаем взгляд на историю как на какой-то фатальный процесс, где не остается места разуму и сознательным действиям масс и каждой личности в отдельности.

С другой стороны, мы вполне сознаем, что и сама историческая необходимость пролагает себе путь через массу случайностей и что было бы нелепо представлять историю в виде прямого тротуара без извилин, без зигзагов и без разного рода препятствий. Речь идет о другом — о том, что ход общественного развития при всем своем разнообразии в каждой стране, в каждом историческом регионе обнаруживает определенную повторяемость. И эта повторяемость, разумеется в основных своих чертах, свидетельствует о том, что общественная наука может и должна быть такой же строгой наукой, какой является физика или математика.

Итак, первое, на чем настаивают марксисты-ленинцы — это то, что развитие человеческого общества идет по восходящей линии: от низших ступеней развития производства, от примитивных форм организации людей ко все более и более высоким стадиям развития производительных сил и соответствующих им общественных отношений. Начиная с образования частной собственности на средства производства развитие общества идет от социального угнетения и несвободы людей через борьбу классов ко все большей свободе людей. Такая свобода находит свое высшее воплощение в адекватном познании человечеством объективных законов общественного развития, овладении теми силами общественного развития, от взаимодействия которых зависит наступление царства мира, братства, творческого труда и счастья каждого народа.

Разумеется, такой взгляд на историческое развитие сегодня еще не стал достоянием всего человечества. Немало людей вполне искренне верят в силу божьего рока, в силу случайности или какого-либо сверхъестественного фактора, определяющего якобы судьбу человеческого общества. Марксисты вовсе не пытаются решить исторический спор о правоте того или иного мировоззрения силой оружия. Наше главное оружие — это уверенность в беспредельных силах человеческого разума. А

гарантия осуществления коммунистических идеалов — это активные революционные и созидательные действия трудящихся масс и прежде всего рабочего класса, руководимого своим коммунистическим авангардом.

Экз. № 10000
30220000000

II.

Английский философ Ф. Бэкон, говоря о роли правильного метода в научном познании, сравнивал его со светильником, освещающим путнику дорогу в темноте. Характерно его замечание: даже хромой, идущий по дороге, опережает того, кто бежит без дороги. Это значит, что нельзя рассчитывать на успех в исследовании любой проблемы, если не найти правильный в методологическом отношении путь этого исследования.

Конечно, каждая наука содержит свои методы и частные приемы исследования. Но должны, видимо, существовать самые общие принципы в подходе к любому явлению. Каждый исследователь должен иметь перед собой общую целостную картину мира, без которой трудно найти действительное место и роль каждого явления в движении универсума.

Необходимость иметь цельное философское мировоззрение, какое, по нашему мнению, дает марксизм-ленинизм, легко иллюстрируется на примере современного естествознания. Как известно, современное естествознание находится в поисках новых обобщающих теорий — таких, например, как общая теория элементарных частиц, общая картина развития растительного и животного мира, общая теория систем. Чтобы достигнуть обобщения на таком высоком уровне, необходимо обладать соответствующей философской культурой и соответствующей способностью к логическому мышлению. Философия не претендует ныне быть «наукой наук», однако она вооружает естествоиспытателей тем категориальным аппаратом логического мышления, мировоззренческими и методологическими принципами, законами диалектического мышления, без которых невозможно в современных условиях добиться успехов в любом научном исследовании. С другой стороны, именно философия обеспечивает единство и взаимосвязь всех сторон познания многообразного мира. Истина эта, неоднократно подтверждаемая жизнью, блестяще выражена крупнейшими естествоиспытателями. Так, известный физик В. Гейзенберг отмечал: «В наших представлениях мир раскрывается как бесконечное многообразие вещей и событий, цветов и звуков. Но, чтобы его понять, необходимо установить определенный порядок. Порядок означает выяснение того, что равно. Он означает единство. На основании этого возникает убеждение, что должен существовать единый принцип; но в то же время возникает трудность, каким путем с его помощью объяснить бесконечное многообразие вещей. Естественный исходный пункт: существует материальная первопричина вещей, так как мир состоит из материи»¹.

¹ В. Гейзенберг. Физика и философия. М., И. Л. 1963, с. 41.

35940
3075 P1033

Картину материального развития мира и плодотворные методы исследования дает марксистское мировоззрение. Оно вовсе не представляет чего-то раз навсегда данного и законченного. Напротив, краеугольным камнем нашего учения является мысль о неисчерпаемости человеческого познания. Значит, каждое познанное явление расширяет горизонты человеческого знания и вместе с тем ставит перед ним новые вопросы, стимулирует его к дальнейшим поискам и открытиям. И здесь секрет неуявдаемости марксизма, его непрерывного развития и обогащения в ходе развития самой жизни.

Практика — источник познания. Но вместе с тем это и критерий истинности наших представлений. Марксистов нередко упрекают в том, что они утверждают истинность лишь своего мировоззрения. Буржуазный же мир, видите ли, характеризуется плюрализмом теорий. Здесь, мол, каждый придерживается своего мировоззрения, никто не монополизирует истину. Такой «плюрализм», однако, вовсе не является доказательством интенсивности духовной жизни буржуазного мира. Ведь истина и в самом деле одна, зато ложь многолика. А многие буржуазные доктрины — лишь варианты одного и того же идеалистического мировоззрения, опровергнутого развитием науки и практики. В то же время реальное богатство марксистских идей в том, что они впитывают в себя всю полноту общественно-исторической практики человечества, достижений науки.

Ф. Энгельс в свое время писал, что материализм принимает новую форму с каждым крупным открытием естествознания. В XX веке, когда налицо блестящие успехи естественных наук, это означает все большее обогащение и творческое развитие диалектико-материалистического мировоззрения.

Марксизм, раскрывая пути борьбы за лучшее будущее, за построение общества изобилия и свободы для всех, вовсе не является учением, противопоставляющим себя истории общественной мысли вообще. Как раз наоборот: величие марксизма в том, что он дал ответ на вопросы, которые ходом общественного развития уже поставлены. Люди всегда мечтали о светлом будущем, о некоем «золотом веке», свободном творческом труде, гармоничном развитии личности, о братстве людей различных рас и национальностей. Даже в самые отдаленные времена создавались проекты будущего устройства человеческого общества, в которых нет ни бедных, ни богатых, униженных или обиженных, в которых каждый в меру своих способностей и таланта трудится на общее благо и тем самым на собственное благо.

Знаменитые утописты Мор, Кампанелла, Морелли, Мабли, Уинстенли, а в более позднее время Сен-Симон, Фурье, Оуэн в своих трудах предвосхитили с гениальной проницательностью некоторые из черт будущего общества, высказали идеи, многие из которых восприняли и научно разработали, обосновали основоположники марксизма — Маркс и Энгельс. Но это было не просто заимствование идей великих мыслителей.

Маркс и Энгельс, являясь гениальными сынами своего времени — эпохи выступления на историческую арену проле-

тариата как самостоятельной силы, смогли возвыситься над фантастическими и прекраснодушными мечтаниями своих идейных предшественников, поставить на научную почву их мечты. В самой общественной жизни они разглядели ту социальную силу, которой суждено было, поднявшись на революционную борьбу, сломать цепи векового социального рабства, освободить себя как класс и вместе с тем все трудовое человечество, проложить дорогу к новому обществу. Такой социальной силой марксисты считали и считают рабочий класс, свободный от привязанности к частной собственности, связанный с передовыми формами производства, организованный и сплоченный в рамках крупных промышленных предприятий, а также в масштабе общества в целом.

Таким образом, благодаря Марксу и Энгельсу социализм из утопии превратился в науку. Начиная с возникновения марксизма, люди, думая о своем будущем, все реже возлагают надежды на просвещенного монарха, на автоматический процесс развития самого производства или на небесные силы. Они все больше сознают, что ключи к собственному счастью в их руках и что только собственными революционными усилиями они могут построить подлинно равноправное и справедливое общество.

Марксизм как мировоззрение, естественно, воспринял и передовые достижения науки. Именно благодаря тому, что марксизм овладел новейшими достижениями физики, биологии, математики и т. д., он смог создать цельную картину мира, мира, где все явления взаимосвязаны, где все процессы рассматриваются в непрерывном движении и изменении. В формировании такого воззрения на мир они испытали благотворное влияние Гегеля и Фейербаха, которые явились источниками философских идей марксизма.

Восприняв от Гегеля диалектику, а от Фейербаха материалистический взгляд на окружающий мир, Маркс и Энгельс не просто соединили то и другое, они критически переработали взгляды своих философских предшественников и создали диалектический материализм как качественно новое философское направление. Величайшим открытием Маркса и Энгельса по праву считается распространение материалистического взгляда на общественную жизнь людей. Именно благодаря перевороту, сделанному марксизмом, история перестала быть скоплением бесчисленных случайностей и волевых действий отдельных полководцев, монархов, королей. Она предстала как сложный, противоречивый поступательный процесс развития человеческого общества, творцом и главной силой которого являются народные массы.

Это не означало умаления роли великих личностей, как не означало умаления роли субъективного фактора вообще. Но подлинное величие личности, как мы его понимаем, состоит в умении понять скрытые пружины исторического развития, в умении разобраться во множестве исторических событий и проследить ту нить общечеловеческого развития, которая знаменует собой магистральную линию прогресса человеческого общества, а именно: классовую борьбу, ведущую в конечном счете к установлению власти рабочего класса. Власть рабочего

класса, которая понадобится ему в течение целого исторического периода для создания прочных социально-экономических и политических предпосылок свободного развития всего общества, постепенно преодолевающего деление на враждебные классы.

Марксизм кое-кто и по сей день представляет как собрание каких-то догматов, как своего рода новую религию, утверждающую некую историческую миссию пролетариата. Однако такой взгляд на марксизм свидетельствует лишь о поверхностном знакомстве с учением Маркса, Энгельса, Ленина. Главное в марксизме как мировоззрении — это его научный метод, который обязывает черпать все свои идеи из жизни, а не навязывать действительности свои формулы, постоянно обновлять и, если нужно, пересматривать те или иные положения, которые опровергнуты самой жизнью.

Творческий характер марксизма, его непримиримость к каким-либо догмам лучше всего иллюстрируется современным этапом развития марксизма, связанным прежде всего с деятельностью великого ученика Маркса и Энгельса — В. И. Ленина и его последователей. Ленин выступил в стране, которая не являлась классической страной капитализма и с точки зрения развития производительных сил, общей культуры намного уступала передовым капиталистическим странам Запада. Нужно было обладать не только революционной смелостью, но и подлинно творческим складом ума, чтобы не побояться отбросить устаревшую формулу, о том, что пролетарская революция произойдет одновременно во всех цивилизованных странах мира.

В период империализма, в период неравномерного развития капитализма в каждой из стран создавалась возможность прорыва цепи империализма в его слабейшем звене. Таким звеном, узловой точкой всех противоречий старого мира и являлась Россия, которая была средоточием самого жестокого социального и национального гнета.

Находились «правовверные» марксисты, которые оспаривали тезис Ленина о возможности победы социализма первоначально в одной стране. С завидным умением оперируя цитатами из трудов Маркса и Энгельса, они пытались уличить Ленина в неуважении к азбучным истинам марксизма.

Но Ленин не только лучше других изучил произведения Маркса и Энгельса. Он имел перед всеми своими оппонентами то несомненное преимущество, что овладел революционной душой марксизма, его диалектикой, благодаря чему смело двинул вперед марксистскую науку. Впрочем, этим далеко не ограничиваются его заслуги как подлинного марксиста.

Выступив в эпоху назревания революционной бури, Ленин больше чем кто-либо поработал над практическим претворением в жизнь марксистских идей. Он создал партию единомышленников-коммунистов, которая, выйдя из самих народных масс, из рабочего класса и сохраняя постоянную связь с этими массами, внесла революционные идеи в широкие ряды пролетариата и возглавила победоносную социалистическую революцию.

Марксизм впервые из теории был переведен на язык реальной практики. Возникло реальное социалистическое общество, основанное на принципах Маркса, Энгельса, Ленина. Оно принесло освобождение трудящимся массам от ига помещиков и капиталистов, оно дало многонациональным массам России возможность осуществить право на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств.

То, что большинство народов России пожелало остаться в государственном союзе с русским народом, лишний раз свидетельствует о гибкости ленинского принципа права наций на самоопределение, ибо главное состояло именно в свободе выбора каждым народом своего будущего пути.

III.

Современная эпоха, как ее определяют марксисты-ленинцы, это эпоха революционного перехода от капитализма к социализму. На огромных пространствах мира усилиями народных масс создано реальное социалистическое общество. Никто из марксистов не пытается представить дело так, будто социалистическое общество, построенное в Советской стране, во всех своих чертах идентично с обществом, построенным в Польше, или в Болгарии, или во Вьетнаме. Нет, история каждого народа и каждой страны делается самим этим народом, который вносит собственным революционным творчеством неповторимый вклад в теорию и практику научного социализма.

И если, например, в Советском Союзе или на Кубе одна правящая партия, а в Германской Демократической Республике или в Болгарии многопартийная система, то в этом мы отнюдь не видим какого-либо отхода от марксистско-ленинского учения.

Ленин писал, что по дороге к социализму, проложенной Октябрьской революцией в России, в конечном счете пойдут все народы мира, но чем дальше, тем больше они будут вносить разнообразие в пути, методы и формы борьбы за социализм.

Советские коммунисты внимательно изучают опыт других рабочих партий и стран в борьбе за социалистические идеалы. В то же время Коммунистическая партия нашей страны охотно делится накопленным ею опытом с другими партиями. В коммунистическом и рабочем движении нет партий руководящих или партий руководимых. Все одинаково равноправны, каждая самостоятельно определяет стратегию и тактику своей борьбы за социализм. Но сказать только это — еще не значит сказать все о современном революционном процессе. Наряду с разнообразием условий борьбы за социализм и необходимостью учитывать конкретные условия каждой страны существуют и некоторые общие закономерности этой борьбы, открытые марксистско-ленинской наукой и подтвержденные исторической практикой. Раньше спорили о том, можно ли прийти к социализму только революционным путем или социализм может установиться в процессе плавного, гармоничного «врастания»

капитализма в будущее социалистическое общество, посредством частичных реформ и уступок со стороны господствующего класса. История XX столетия показала, что единственным путем преобразования капитализма в социализм может быть революционный путь, который, в свою очередь, может протекать либо в более или менее мирных формах или немирных формах, причем формы перехода к социализму зависят не только от рабочего класса данной страны и от его желаний, но прежде всего от того сопротивления, которое будет оказано ему правящим классом.

Марксисты выступают, безусловно, за наиболее безболезненные формы перехода к социализму. Они за такую революцию, которая протекала бы по возможности без кровопролития (кстати сказать, такой сравнительно бескровной революцией была Великая Октябрьская революция в России). И если затем последовала гражданская война, принесящая столько страданий трудящимся массам, то эта война была навязана трудящимся массам России иностранной военной интервенцией и контрреволюционной буржуазией. Но во всех случаях революция означает определенную степень принуждения, без которого едва ли можно будет ликвидировать власть эксплуататоров. Во-вторых, революция должна уметь себя защищать. Думается, что опыт Чили как раз и свидетельствует об истинности этих положений, на которых всегда настаивали марксисты-ленинцы.

«Но если вы, марксисты-ленинцы, признаете необходимость принуждения, то как же это совместить с вашими заявлениями о верности демократии?» — такие вопросы нередко задают не только идейные противники социализма, но и наши друзья. Да, марксисты-ленинцы сторонники самой широкой, самой последовательной демократии, которая когда-либо существовала. Именно социалистическая революция, передающая власть рабочему классу, и создает условия для утверждения демократии большинства. Но, пока существует сопротивление эксплуататорских классов, классов, уходящих с исторической арены, определенная степень принуждения по отношению к этому меньшинству неизбежна. И в этом смысле, скажем, в истории Советской страны были неизбежными временные ограничения в правах тех лиц и групп, которые стояли на контрреволюционной платформе.

Вместе с тем с самого начала демократия, утверждающаяся в социалистическом обществе, во-первых, носит несомненно более широкий и глубокий характер, поскольку ею реально пользуются трудящиеся массы, во-вторых, она имеет реальные гарантии, поскольку у руля управления обществом стоят сами рабоче-крестьянские массы.

Советская Конституция обеспечивает всем трудящимся СССР такие права, как право на труд, право на отдых, на охрану здоровья, на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери кормильца, право на жилище, на образование, на пользование достижениями культуры и т. д. В соответствии с целями коммунистического строительства гражданам СССР гарантируется свобода научного, технического и художествен-

ного творчества. Лишь одно перечисление этих прав показывает, сколь возросли они в развитом социалистическом обществе!

Говоря о преимуществах социалистической демократии, мы вовсе не склонны умалять значение реальных демократических свобод, которые завоеваны трудящимися массами стран капитала в упорной борьбе со своим классовым врагом. Эти демократические свободы имеют огромное значение в их борьбе за жизненные права трудящихся, против безработицы, против наступления капиталистов. Но мы не закрываем глаза и на то, что в любой капиталистической стране существует диктатура буржуазии, диктатура, которая в своих крайних формах представлена современным режимом Пиночета в Чили или свергнутым недавно режимом Салазара в Португалии, но которая в тех или иных формах осуществляется и в других, более демократических странах капитала.

Есть еще одна особенность марксизма-ленинизма как идейной основы рабочего движения, которую хотелось подчеркнуть особо. Это интернациональный характер марксистско-ленинского учения. Признавая необходимость учитывать конкретный опыт борьбы в каждой стране, мы никогда не стояли на позициях «национального» марксизма. Не может быть русского, шведского или китайского марксизма или социализма. Существует единый научный социализм, который по-своему, в зависимости от конкретных условий претворяется в жизнь в каждой из стран, вступившей на путь социалистических преобразований.

Известны утверждения наших идейных противников, смысл которых в том, что ленинизм, мол, подходит лишь для отсталых стран и в этом смысле он имеет национальный характер. Но утверждения эти лишены какой-либо почвы. Ныне под знаменами марксизма-ленинизма идут сотни миллионов людей, живущих и в развитых и в менее развитых странах Европы, Азии, Латинской Америки. Интернациональная сущность марксизма-ленинизма подтверждается всем ходом общечеловеческой борьбы.

IV.

Темпы общественного развития, быстрота смены событий, ситуаций, в той или иной стране, и во всем мире настолько сильны, а картина поступательного движения обществ, соотношения классовых и национальных сил настолько противоречива и сложна, что социологическая мысль Запада не поспевает обобщать эти события, анализировать их с теоретических позиций. Ранее господствовавшее в буржуазных доктринах убеждение в стабильности и равновесии обществ, сложившихся в результате буржуазных революций, вытесняется ощущением непостоянства социальных отношений, шаткости экономических и политических основ этих обществ. Разумеется, далеко не все ученые капиталистического мира готовы согласиться с преходящим характером всего того, чему они до сих пор поклонялись.

1995040
01033

Для многих невозможность отразить с позиций буржуазной социологии сложность поступательного движения общественной мысли разобратся в сложнейшей гамме социальных отношений вообще. Отсюда тревожные признания кризиса западной социологии и прежде всего одного из ее ведущих течений — структурного функционализма, основанного как раз на явно несостоятельной предпосылке, будто однажды установленная система отличается не только устойчивостью, но и внутренней гармонией, поскольку всякое нарушение должно «вводиться в систему».

Разумеется, и сами буржуазные социологи осознают опасность ситуации, когда своими концепциями они отгораживают себя от тягот и волнений современного мира. Давно уже пришел конец тому, пусть относительно безмятежному, положению вещей, при котором власть имущие в странах капитала и в обширных колониальных владениях наслаждались собственным всесилием. Вот что пишет по этому поводу профессор Вашингтонского университета Элвин Гоулднер в книге «Грядущий кризис западной социологии»: «Социальные теоретики работают в настоящее время в гибнущей социальной среде парализованных породских центров и опустошенных университетских площадок. Кое-кто может закладывать уши ватой, но и до них доносится нарастающий шквал. Не будет преувеличением сказать, что сегодня мы теоретизируем под грохот орудий»¹.

Какое будущее ожидает человечество? — Сейчас этот вопрос задают себе представители самых различных общественных направлений. Ряд влиятельных школ в западной социологии считает, что будущее человечества заключается не в революционном переходе от капитализма к социализму, а в своего рода «синтезе», слиянии обеих социальных систем в одно гибридное общество, которое не будет ни социализмом, ни капитализмом, а будет каким-то смешанным обществом. Авторы этой теории, которая называется теорией конвергенции, считают, что нужно взять от капитализма, скажем, принцип частной собственности и соединить его с некоторыми преимуществами социализма, скажем, с плановой организацией производства и на этой основе без классово-борьбы, без революции создавать новую модель общественного устройства. Эти рассуждения не менее утопичны, чем рассуждения утопистов XVI—XVII веков, согласно которым якобы можно было без классово-борьбы прийти к общечеловеческой гармонии. Потому, что пытаться соединить частную собственность и плановое развитие производства в масштабе всей страны — это все равно что соединить лед с горячей водой.

Существует и такая теория: люди добьются справедливого общества, совершенствуя самих себя. Как известно, этот тезис пронизывает многие из современных немарксистских социалистических учений. Однако историческая практика не подтвердила эту теорию. Люди — продукт исторических обстоя-

¹ Alvin W. Gouldner. The Coming crisis of Western Sociology. N.-Y.-I., 1970, p. VII.

тельств, и если мы хотим добиться совершенного общества, то начинать надо, как нам представляется, не с переделки бытия населения, которое в целом отражает общественное бытие, а с преобразования самих жизненных порядков. Иными словами, как показал советский опыт, опыт других стран социализма, надо прежде всего саму социальную систему сделать гуманной и человеческой. А на этой основе легче развернуть борьбу за формирование личности, воплощающей в себе лучшие черты характера и морали. Всякий другой путь — это несбыточная мечта.

Есть и другая концепция, согласно которой сама по себе научно-техническая революция, развивающаяся во всем мире, настолько изменяет облик мира, что различие между социальными системами становится все менее и менее заметным, так что сами по себе изменения в производительных силах якобы автоматически приводят к утверждению некоего индустриального или постиндустриального общества, где новейшие электронно-вычислительные машины и автоматизированное производство принесут человечеству такие блага, которые ему и не снились в прошлом.

Мы не сомневаемся в огромных благах, которые несет с собой научно-техническая революция. Но ведь не секрет, что последствия научно-технической революции по-разному используются каждой социальной системой. Сейчас перед человечеством стоят серьезные проблемы в плане борьбы с экологическим, энергетическим кризисами, с такими бедствиями человечества, как голод, в плане проведения активной демографической политики, разумного использования ресурсов нашей планеты. Коммунисты выступают за широкое международное сотрудничество в решении этих общечеловеческих задач. Но нельзя не видеть, что хищническое отношение к ресурсам мира, часто обусловленное погоней за максимальными прибылями, столь характерное для капиталистического мира, препятствует плодотворным усилиям человечества в этой области.

Современный капитализм на каждом шагу демонстрирует свой антигуманизм. И прежде всего это проявляется в отношении к самому человеку. Декларируя «права личности» и даже лицемерно беспокоясь о «нарушении» этих прав в странах социализма, буржуазные идеологи на деле проповедают презрение к человеку, его сокровенным стремлениям. Вот что говорит американский литературный критик Джозеф Вуд Кратч по поводу буржуазного искусства: «Никогда еще не существовало искусства, в котором бы в такой степени доминировала всеохватывающая ненависть. Когда-то писатель ненавидел отдельных «плохих людей». Затем он начал ненавидеть общество, которое несет ответственность за появление таких плохих людей. Теперь же его ненависть направлена не на индивидов или общество, а на весь мир, в котором плохие люди и плохое общество есть не что иное, как выражение зла, присущего самой вселенной»¹. Нетрудно понять, что само общество, порождающее такое искусство, отжило свой век.

¹ См.: Современная прогрессивная философская и социологическая мысль в США. М., «Прогресс», 1977, с. 250.

Марксизм-ленинизм исходит из того, что развитие производства и научно-техническая революция создают лишь предпосылки разумной организации человеческого общества. Но без радикальных преобразований общественных отношений и прежде всего отношений собственности нельзя мыслить себе переход к подлинному изобилию и благосостоянию всего человечества.

В. И. Ленин писал: «...Социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма, социализм вырисовывается непосредственно, **практически** из каждой крупной меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего капитализма»¹.

Мир в целом созрел для социальной революции пролетариата. Но как и когда это будет сделано, в какой стране раньше, в какой позже — решает сам народ этой страны. Никто не вправе вмешиваться в эти дела, «экспортировать» революцию.

Задача трудящихся масс, как ее понимают коммунистические и рабочие партии, спланироваться в борьбе за социалистические идеалы, организованно противостоять наступлению капиталистов на жизненные права и свободы трудящихся. Важная предпосылка этого — единство действий трудящихся масс и в национальном, и в интернациональном масштабах.

V.

Во всем мире растет интерес к советскому опыту превращения в жизнь идей марксизма-ленинизма, опыту построения развитого социалистического общества. Это общество, где нет кризисов или анархии производства, безработицы и нищеты масс, гнетущей неуверенности человека труда в завтрашнем дне. Это общество, где достигнута высокая степень развития производства, где утвердилось социальное и национальное равенство, где каждый трудится в меру своих возможностей и способностей и получает от общества в соответствии со своим трудовым вкладом в общее дело.

Советские люди вовсе не считают, что достигли той гармонии в развитии производства, общественных отношений, которая позволяет почитать на лаврах или предаваться самоуспокоенности или благодущию. Нет, у нас немало проблем и в области экономической, и в социальной, и в духовной. Наше производство — плановое производство, и все силы народа сосредоточены на выполнении нынешнего, десятого пятилетнего плана, главной чертой которого является борьба за повышение качества продукции, эффективности производства.

Характерная особенность развитого социалистического общества в том, что повышение его зрелости и дальнейшее продвижение вперед по пути к коммунизму непосредственно связаны с повышением общественной активности советских граждан, чуть ли не всеобщим вовлечением трудящихся в управление всеми делами государства. А это предполагает дальней-

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 34, с. 193.

ший и все более широкий рост идейной убежденности трудящихся масс, без которой они не смогли бы сознательно и на подлинно научном уровне осуществлять управление общественными делами. Вот почему воспитание у каждого строителя коммунизма научного марксистско-ленинского мировоззрения — первостепенная работа партийных организаций.

Это не просто просветительская работа. Партия, как подчеркнул XXV съезд КПСС, стремится обеспечить тесное единство идейно-политического, трудового и нравственного воспитания во всех слоях населения. Это значит, что формирование передового мировоззрения непосредственно связано с выработкой коммунистического отношения к труду и с воспитанием высоких моральных качеств. Иными словами, с точки зрения нашей морали, немного стоят глубокие знания марксистской философии или политэкономии у человека, если он не применяет их в жизни, если он, допустим, нарушает дисциплину труда, нормы общественной морали. А ведь социалистическое общество пока не свободно от лодырей и прогульщиков, любителей выпить или пренебрежительно относящихся к коллективу, к нормам и правилам советского образа жизни.

Мы ценим теоретические убеждения, когда они становятся частью человеческой природы, входят в плоть и кровь.

Коммунисты исходят из неизбежности социалистической перспективы для всего человечества, неизбежности победы марксизма-ленинизма в сознании и умах всех народов. И не удивительно, что КПСС активно борется за утверждение научных идей марксизма-ленинизма в сознании широких масс трудящихся у себя в стране и неустанно разоблачает враждебную идеологию, происки антикоммунизма.

Борьба идей на мировой арене — процесс объективный. И в этой борьбе так или иначе участвует каждый гражданин Страны Советов. Своим патриотическим трудом, укреплением материального и духовного достояния СССР, всего социалистического мира советские люди делают идеи коммунизма все более действенными и непоколебимыми.

Вспоминаются известные слова Бертольта Брехта из пьесы «Жизнь Галилея». Автор вкладывает в уста ученика Галилея такой вопрос: «А вы не считаете, что правда, если она является правдой, проложит себе путь и без нас?». И Галилей отвечает: «Нет, нет, нет. Правда пробьет себе дорогу настолько, насколько мы будем способствовать этому: победа разума может быть лишь победой разумных людей...».

Нет, коммунисты не уповают на стихийное утверждение марксистского мировоззрения, а используют средства массовой информации и силу научной аргументации для распространения этих идей.

Любопытно, что даже люди, не стоящие на позициях научного социализма, так или иначе приходят ко многим его идеям. Например, Альберт Эйнштейн, задаваясь вопросом о будущем человечества, рассуждал следующим образом: он говорил, что человек наряду со своим биологическим бытием обладает неотделимым от биологического социальным бытием. Без

связи с обществом человек аннигилирует, перестает существо-
вать.

Эйнштейн высказал эту мысль в физической и в то же время в социально-экономической форме. Он пользовался физическими аналогиями с частицей, которая не существует без поля, но он имел в виду экономические связи индивидуального бытия с коллективным. Социальная природа человека динамична. Она сжата в своем движении стихийными законами капиталистического общества, которые отчуждают и калечат личность. Отсюда необходимость плановой организации производства. Если планирование ликвидирует анархию производства и отчуждение личности, если оно открывает дорогу социальному динамизму и индивидуальности, это социализм¹.

Учение Маркса всесильно потому, что оно верно. Эти ленинские слова, на наш взгляд, точно выражают решающую черту пролетарского мировоззрения. В этих словах выражена уверенность в неизбежности торжества идеалов социализма и коммунизма, наш исторический оптимизм.

Подытоживая ход развития общественной мысли человечества, мне представляется, можно сказать: возможности человеческого познания беспредельны. И марксисты меньше всего заслуживают упрека в том, будто бы они считают, что уже познали все и вся. Очевидно, нужно много и тщательно работать, чтобы прояснить многие еще остающиеся не до конца решенными проблемы, включая многие аспекты марксистской науки, вопросы борьбы за социальный прогресс. Но жизнь убеждает: идя по пути марксовской теории, развитой и обогащенной Лениным, коммунистическими партиями, мы все больше приближаемся к объективной истине (никогда не исчерпывая ее). А идя по другому пути, неминуемо оказываешься в плену реакционных буржуазных и реформистских заблуждений.

Рабочий класс не нуждается ни в социальных шорах, ни в каких-либо иллюзиях. Ему нужен ясный и строго объективный взгляд на вещи, на события в мире. Это мировоззрение, сочетающее в себе строгую объективность, научность и коммунистическую партийность, и называется марксистско-ленинским мировоззрением.

¹ Б. Кузнецов. Путешествие через эпохи. М., 1976, с. 169.

Нодар ДУМБАДЗЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ

Я уже говорил о негритянском писателе Алексе Хейли. В Америке сейчас нет книги более популярной, чем его «Корни». Эта книга произвела в Штатах генеалогическую революцию. Дело в том, что сей темнокожий писатель проследил генеалогию своей семьи, поехал в Африку, разыскал то село, откуда 300—400 лет назад его предков, закованных в цепи, увезли в Америку, чтобы сделать там рабами, и некоторое время жил среди своего народа. Все это он описал в книге, которую назвал «Корни».

Сейчас, как я уже сказал, вся Америка погружена в эту генеалогическую и, если можно так выразиться, духовную, генетическую «археологию». Сегодня в Штатах кого ни спроси о национальности, непременно получишь наидостовернейший ответ: или шотландец, или ирландец, или француз, или русский, выходец из Тамбовской губернии, или испанец, или негр, или же уроженец Средиземноморского бассейна. «Я — американец» не говорит почти никто.

Атомное ядро американской нации находится сейчас в процессе расщепления, и какая энергия пнездится внутри него, заранее сказать трудно. А возможно, что этот процесс окажется всего лишь временным увлечением американских любителей старины и романтики. Кто знает?

В Сент-Луисе, чтобы показать нам, как живут американцы, нас приглашали домой к разным людям. Мне и писателю С. Балзылину довелось гостить у проректора Сент-Луисского университета.

Сначала он прислал свою визитную карточку, затем утром заехал за нами в гостиницу на своей машине и прокатил нас по всему городу, повез на берег Миссисипи, чтобы показать чудо современной архитектуры — Сент-Луисскую арку, а по-

Окончание. Начало в № 8.

том пригласил на свою загородную виллу обедать. Все американцы, — разумеется, те, у кого есть такая возможность, стремятся жить за городом.

Вилла была великолепна: двухэтажная, с большим количеством гостиных, спален, холлов и кабинетов. В нижнем этаже, помимо большой столовой и кухни, находился еще и гараж для двух машин.

Маленький дворик, с зелеными газонами, украшали плавательный бассейн и ельник, полный толстеньких, пушистых, на редкость смелых с людьми, почти ручных белок. Американцы отнюдь не утруждают себя сооружением заборов, вполне довольствуясь, так сказать, естественными рубежами.

Хозяйка уже поджидала нас. И она, и ее супруг оказались очень гостеприимными, милыми и любезными людьми. И муж, и жена увлекались стариной. Муж оказался страстным коллекционером бокалов, и почти все стены этого огромного дома были заняты сосудами всевозможных цветов и размеров. Самому древнему бокалу было, если не ошибаюсь, 150 лет. Над ним тряслись, как над Ахиллесовым щитом, так что уж я не решился его потрогать.

Подобно нашим кахетинцам, американцы не считают нужным долго упрашивать своих гостей. То, что предлагают, предлагают от души, и сами они в общении просты и не любят церемоний. Когда я подарил супругам медальон с изображением Матери-Грузии, выпущенный к 1500-летию основания Тбилиси, маленький чинжал и привезенный из рачинского села Геби перстень, простой, но очень древний, радости их не было предела.

— Этому перстню столько же лет, сколько всем вашим бокалам, вместе взятым, — хвастливо заметил я.

В Сент-Луисе вообще любят старину. Как-то на одной из улиц разрыли поврежденную канализационную сеть и обнаружили, что раньше (под четырьмя или пятью слоями асфальта) там была булыжная мостовая, — так теперь весь муниципалитет занят тем, что разрывает асфальт и реставрирует булыжные мостовые.

Сент-Луис славится в мире и своею замечательной телефонной станцией, где в то же время изготавливается всевозможная телефонная аппаратура, которой пользуется почти вся Америка. Мы побывали на этой станции. Она, разумеется, находится в частных руках.

Я спросил президента фирмы, которому удалось поднять свою телефонную индустрию до такого уровня:

— За сколько часов можете вы, господин президент, соединить нас с Москвой?

Он задумался, глянул на часы и ответил:

— За сорок шесть секунд.

— А вы могли бы здесь же, сейчас продемонстрировать эту операцию? — спросил я и, в ожидании его поражения, с торжествующим видом взглянул на членов нашей делегации... 41 секунду спустя я услышал в трубке голос московской телефонистки.

— А теперь соедините меня, пожалуйста, с Тбилиси за 41 секунду! — попросил я.

— Мы с вами держали пари насчет Москвы, а вы так скоро Москва соединит вас с Тбилиси, я не отвечаю, — будто окатив меня ледяной водой, сказал он.

В Америке я видел еще одно чудо архитектуры. Это чудо — лос-анджелесская гостиница «Холидэй» с подвесными лифтами, построенная по проекту архитектора Джона Портмана.

В задыхающемся от обычного смога и выхлопных газов миллионов автомашин городе эта гостиница похожа на цветущий оазис в Аравийской пустыне.

Ее фойе представляет собою зеленеющий сад и переливающаяся голубое озеро; в воду наполовину погружены четыре разноцветных лифта, которые время от времени взмывают вверх, как торпеды, и с головокружительной скоростью уносятся куда-то к звездам. Сквозь стекло лифта видно все — и город, и фойе, и этажи, и солнечное или звездное небо. Особенно красиво это выглядит ночью, когда само здание скрыто темнотой, и четыре освещенных лифта, устроенные снаружи, напоминают четыре клетки для канареек, поочередно увлекаемые в небо чьей-то невидимой рукой.

Я прожил в этой гостинице три дня, именно дня, потому что ночью я бродил по городу и глазел на это великолепное зрелище.

Администрация чрезвычайно гордится своей гостиницей. Помню, утром дежурный по этажу спросил меня:

— Как вам спалось, мистер Думбадзе?

— Как в анкордеоне, — отвечал я.

— Это как же понять?.. — удивился он.

— Очень просто... В жизни не приходилось спать среди стольких кнопок, — сказал я. Он долго смеялся, затем повел меня в номер и подробно объяснил назначение каждой кнопки. Однако это не помогло. Вечером я опять все перепутал, вместо того чтобы включить кондиционер, я нажал кнопку завода будильника, вследствие чего как сумасшедший вскочил с постели в два часа ночи.

Вас, должно быть, удивляет, что я ничего не рассказываю о знаменитых американских небоскребах. Честно говоря, большого впечатления они на меня не произвели. Да и чем, собственно, эти небоскребы могли меня удивить? Разве только тем, что не разваливаются?.. Напротив, небоскребы показались мне одним из величайших несчастий Америки, когда в Нью-Йорке среди лишенных солнца мрачных зданий я видел задыхающиеся без воздуха чахоточные растения.

Меня больше удивила одноэтажная Америка, потому что люди, умудряющиеся строить такие одноэтажные здания, в состоянии, вероятно, построить не то что стоечные, но и сооружения в тысячу этажей. Для них это уже не проблема.

Я давеча говорил о лифтах, так вот, хочу вам рассказать один курьезный случай, как раз связанный с лифтом. В Нью-Йорке шел один молодежный спектакль, нашумевший, что даже нам с трудом достали билеты.

Так или иначе, мы все же попали на спектакль. Театр располагался на третьем этаже старого, аварийного дома. Городская мэрия, оказывается, хотела сломать этот дом, но по просьбе любителей театра уступила его им. Любители здание отремонтировали и превратили в театр. Интересно то, что за это нигде не годное здание, дабы не нарушать существующей в США тарифной системы, вносится ежегодная плата — один доллар.

Вошли мы в лифт, раскачиваясь и вздрапывая, проехали один этаж, другой и... лифт остановился, вернее, застрял между вторым и третьим этажами. Администрация всего дома поднялась на ноги. Однако, несмотря на все их попытки и усилия что-то сделать — представляете! — им даже не удалось сдвинуть нас с места. В общем целый час мы просидели в лифте. Чуть не задохнулись. Американка, случайно оказавшаяся с нами, столько извинялась от имени всей американской технической интеллигенции, что под конец нам стало неловко, и мы сами начали успокаивать ее.

В конце концов привели двух негров, должно быть, монтеров; они разобрали лифт чуть ли не до последнего винтика и с великим трудом извлекли нас оттуда, задышающихся, потных, с пожелтевшими физиономиями. Люди, собравшиеся на лестнице, чтобы позабавиться, встретили наше появление аплодисментами и восторженными криками. Нас тут же угостили ледяным французским шампанским. Как жаждущие в пустыне, мы набросились на живительную влагу. Какой-то тип воспользовался случаем и залпом опорожнил бокал предназначавшегося для нас шампанского.

— А его с нами не было! — закричал кто-то.

— Ну и что ж что не было! Зато я так переживал, пока вы там сидели! — выкрутился тот. Его ответ вызвал такой хохот и ликование, что администрация преподнесла ему второй бокал. Он принял этот второй бокал и передал его какой-то даме. На этот раз восторг толпы вызвало его джентльменство, а когда оказалось, что эта дама — его супруга, смеху и шуткам не было конца. Впрочем, промче всех смеялись сами супруги.

О спектакле мне сказать почти нечего, потому что как только Майкл начинал переводить, зрители, сидящие сзади, тут же заставляли его умолкнуть.

Труппа в основном состояла из учащихся, и лишь два-три актера были профессионалами.

Декорация спектакля показалась мне эклектичной, склеенной из различных «измов». Сам спектакль представлял собой нечто вроде мюзикла, ребята великолепно танцевали и пели. Но более всего меня очаровала пластика «цветных» актеров.

Вообще-то пьеса показалась мне пессимистичной. Это был крик души маленьких детей, оставленных без присмотра,

без внимания, без любви. Реплику одного из героев Мальт все-таки успел перевести:

— Мы владем такими богатствами, что иногда ^{обязательно} голодными, — это говорил мальчик 10—12 лет. ^{Впервые} этими словами он обратился к аудитории, и аудитория встретила эту реплику аплодисментами.

К несчастью, я потерял программу спектакля и сейчас не помню фамилий ни автора пьесы, ни режиссера.

Что касается спектакля, то его в самом ближайшем будущем собирались переносить на Бродвей, ну а Бродвей — это уже мировое признание.

Настал черед побывать в Диснейленде и Полливуде.

Не знаю, что можно сказать обо всем этом нового. Скажу одно: очень жаль детей, которые родились в наше время и не видели этих двух сказочных стран.

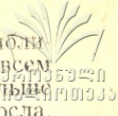
В Диснейленде воскрешены все приключенческие и фантастические книжки, которые мы читали в детстве. Путешествие в «Наутилусе» под водой; путешествие по реке в стране разбойников и пиратов, накачивающихся джином и виски; прохот ружей, пушек, пистолетов; поразительные имитации падений и грабежей; по улицам, в обнимку с гуляющими детьми, рассказывают Микки Маусы, медвежата, кролики, белочки, волки, лисницы... На верхушке баобаба — сплетенная наподобие птичьего гнезда избушка, увитая лианами; монорельсовая дорога, старинный дилижанс, конка, вигвамы, индейцы, ледяные вершины; маленькие гостиницы, миниатюрные города, улицы, подиумы ковбоев и, наконец, совсем недавно построенный космодром, с которого выполняется пока всего один рейс: **ЗЕМЛЯ — МАРС.**

Мы вошли в круглое сооружение, похожее на цирк, в купол которого смонтирован опромный киноэкран. Нас усадили на специально отведенные места, и диктор в репродукторе объявил:

— Внимание! Полет начинается. Пять, четыре, три, два, один. Старт!

Ритуал взлета приблизительно таков, каким мы обычно видим взлет космических кораблей на экране. Свет погас. На усыпанном звездами небе появляется ярко красная планета величиной с яйцо. Гудят моторы. Наши стулья начинают сильно вибрировать, мы слегка отклоняемся назад, и ракета движется по направлению к Марсу. Полет продолжался приблизительно полчаса. Постепенно мы приблизились к Марсу. Это вовсе не придуманная постановка с декорациями. То была настоящая пленка, которую отсняла и привезла с Марса на Землю американская космическая станция. Мы приблизились к Марсу на несколько сотен километров и, облетев его пустынную, испещренную отвесными скалами и трещинами («каналами») огромную поверхность, повернули к Земле. Теперь уже Земля показалась впереди маленькой, мерцающей, голубой звездочкой, и чем ближе мы к ней были, тем более удивительное зрелище она собой являла.

— Подобной прасоты мне в своей жизни видеть не приходилось. Земля, похожая на гигантский изумруд в тысячецвет-



ном лучезарном ореоле, такая прекрасная и родная, приближалась с невиданной быстротой. Когда она была уже совсем близко, у меня екнуло сердце: я увидел одну воду и больше ничего — суши не было видно. Планета постепенно росла, увеличивалась и, наконец, показалась земля.

— Гриша, земля! — радостно прошептал я Бакланову.

Наверное, такую же радость испытывают космонавты и астронавты, когда возвращаются на Землю. Кроме невесомости, мы испытали все. Была полная иллюзия взлета и приземления. Между прочим, мы запаслись в дорогу и провиантом — вкуснейшими калифорнийскими кукурузными хлопьями — «батибути», как их называют у нас в Грузии.

По территории Голливуда нас возили на автобусе. Почти целый час продолжалась эта поездка среди уже знакомых нам с экрана южноамериканских городов и сел, прославленных своими ковбоями и гангстерами, охваченных пламенем небоскребов и затопленных наводнением ковбойских ранчо. По дороге нас подстерегали бесчисленные «опасности». Сначала наша машина едва не опрокинулась в громадном ледяном туннеле, затем прямо под колесами сломался и разлетелся в щепки старый деревянный мостик: когда мы проезжали озеро, нас чуть было не проглотила колоссальная акула, а вслед за тем к нам подкралась подводная лодка и прямо у нас перед носом взорвала мину. Однако на том наши злоключения не закончились: мчащийся с горы поток едва не унес нас вместе с автобусом... Чудом уцелев, мы еле добрались до столовой, где один из наших хозяев, 76-летний йог, прямо на полу сделал стойку на руках. Ему очень хотелось, чтобы мы последовали его примеру, но тут Валентин Катаев весьма остроумно заметил:

— Нет уж, дорогой мой, я всю свою молодость провел вниз головой, так что позволь мне хоть в старости ходить как следует.

Этот йог не был ни актером, ни жонглером. То был просто доброволец, который после ухода на пенсию совершенно бескорыстно, без какого бы то ни было вознаграждения, занимался тем, что принимал иностранных туристов.

На прощание он раздал нам свои на редкость оригинальные визитные карточки. В этих карточках, помимо его имени и фамилии, было указано следующее: в котором часу его можно приглашать в гости, какие блюда он любит, какого типа женщины ему нравятся, сколько ложек сахара он кладет в чай и в кофе, что он пьет, какие сигареты предпочитает, сколько весит, какого рода подарки принимает и так далее.

Тамадой за столом был президент тамошнего туристского общества. Когда мы уже были немного разгорячены выпитым виски, президент поднялся.

— Дамы и господа! — начал он, подняв хрустальный бокал. — Этот тост я хочу предложить за самую красивую, самую привлекательную, самую прекрасную половину человечества!

— Господин президент, вы, случайно, не Советский Союз имеете в виду? — поинтересовался я.

— Мистер Думбадзе, я собирался выпить за дам, но раз уж вы меня так поняли, давайте выпьем за Советский Союз! — не растерялся президент, и под всеобщий смех и аплодисменты мы подняли бокалы за Советский Союз.

В Голливуде нам показали две серии нового фильма «Челюсти». С точки зрения технической и режиссерской фильм очень интересен, но смотреть его страшно. С потрясающим натурализмом там показывают, как гигантская акула пожирает отдыхающих маленького приморского городка.

Фильм этот снят по мотивам популярного романа «Челюсти». Автор его — Николас Беншли.

После Голливуда и Диснейленда я еще раз убедился, какой большой грех мы совершаем, затягивая строительство «Мзиури»¹. Конечно, разве можно одним махом построить Диснейленд и Голливуд? Но ведь Диснейленд начинался с простой конки и железной дороги, а постепенно дошел до монорельсовой дороги и космодрома. «Трудно», — скажет кто-нибудь. Знаю, милостивый государь, знаю. Легче всего вообще ничего не строить.

Организация Объединенных Наций всегда казалась мне строго охраняемой, таинственной и неприступной крепостью — твердыней. Ничуть не бывало! Сидят за круглым столом представители всего мира и решают судьбу какой-нибудь страны, а в это время амфитеатры и балконы залов заседаний ООН заполнены журналистами, фоторепортерами, туристами и путешественниками.

В одном из залов заседаний разбирался... не помню точно, кажется, абиссинский вопрос. Мы подоспели как раз к началу голосования. Когда часть представителей подняла руки, я решил в шутку поддержать их с балкона своим голосом и тоже поднял руку. Наш гид громко рассмеялся.

— Почему вы смеетесь? — спросил я.

— Вы только что проголосовали за предложение США, — отвечал гид.

¹ Детский комплекс, строящийся в Грузии.

— Знаю, знаю, но у него было так мало сторонников, что мне просто вас жалко стало, — не растерялся я.

ООН более походит на выставку уникальных произведений искусства, нежели на кардиологический центр всей мировой полиптики. Почти все входящие в нее государства преподносят ООН какой-нибудь шедевр, и все это выставлено в фойе и коридорах. Лучшей выставки нет нигде. Между прочим, я видел там известный витраж Шагала, затем купил почтовую открытку с его репродукцией и из знаменитой почты ООН отправил своим в Тбилиси с первомайскими поздравлениями.

Адрес я написал по-русски, а текст по-грузински. Не знаю, чья почта оконфузилась, но факт остается фактом: спустя два месяца после моего возвращения из Штатов эту открытку мне принес наш почтальон. Если бы я, подобно капитану потонувшего судна, сунул эту открытку в бутылку и бросил в океан, она тоже попала бы в Тбилиси через два месяца.

Раз я уж снова вспомнил Нью-Йорк, должен заметить, что это вовсе не такой грязный город, каким его нам показывают кино- и фотокорреспонденты. Действительно, то, что не попадает в урны (а они встречаются через каждые десять шагов), американцы бросают прямо на землю, и к вечеру улицы выглядят порядком замусорены, тем не менее утром этот гигантский город вновь сияет чистотой.

Сразу же по приезде в Нью-Йорк нас предупредили — сами американцы, кстати говоря, — чтобы мы не гуляли по улицам допоздна: могут ограбить, а ходить поодиночке в знаменитый нью-йоркский Центральный парк нам запретили не только ночью, но и днем.

Несмотря на то, что я не великий искатель приключений и сердце у меня не львиное, любопытство мое пересилило все остальные чувства, я подумал: дай-ка пройдусь разок по этому людоедскому парку, не убьют же меня, в самом деле, зато будет что рассказать и чем похвастать. Причем не только подумал, но и выполнил свое намерение.

В двенадцать часов ночи я пришел в парк. Тут и там на скамейках группами сидели молодые люди, возможно — хиппи, хулиганы, грабители и убийцы. С уверенностью ничего сказать не могу. Возможно, это были самые благовоспитанные и почтенные люди. Кто пел, кто смеялся, кто сидел молча. Кто расположился прямо на траве со своей возлюбленной... И только я в гордом одиночестве шагал по парку, назвистывая, руки в карманах, с напусыной беспечностью на лице. Когда я возвращался, от одной из групп отделился дюжий малый и, тоже назвистывая, засунув руки в карманы, направился ко мне. Он подошел. Я остановился. Он был выше меня на целых две головы... Нет, не на две, но на голову выше все же был.

— Чего тебе? — спросил я по-грузински. Он удивленно поглядел на меня и что-то спросил. Я ничего не понял, однако мне показалось, что он интересуется моим происхождением, так как он повертел рукой у меня перед носом.

— Я гуриец, из Чохатаурского района, — это я тоже, разумеется, сказал по-грузински. Он совсем обалдел и опять что-то спросил.

— Ноу спик инглиш! — признался я в конце концов. Все это время я глядел на него снизу вверх, как будто разговаривал с человеком, стоящим на балконе. Не знаю, то ли моя одежда его испугала, то ли мой английский — он покачал плечами, потом похлопал по плечу меня, повернулся и ушел. Я насилу успокоился.

Когда утром я рассказал нашим эту историю, мне, конечно, никто не поверил. Тогда я все до мелочей рассказал нашему переводчику, присовокупив при этом: — Что ж вы нас пугали? Видите, никто меня не опрабил, да и не съел меня никто?..

— Мистер Думбадзе, — сказал Майкл, — все разбойники в этом парке или итальянцы, или мексиканцы, или пуэрториканцы. Вы уж не обижайтесь, но вы так на них похожи, что они, верно, приняли вас за своего.

Мы оба весело рассмеялись, хотя кто знает, может, так оно и было.

Здесь хочется вспомнить один случай: я как-то высказал упрек в адрес американских студентов по поводу того, что они не знают советской литературы. Так вот, не думайте, что это свойственно только студентам или что я это придумал.

Однажды вечером профессор Засурский, Пригорий Бакланов, Фрида Лурье и я сидели в маленьком ресторане. Рядом с нами, за соседним столом трое американцев пили виски и громко разговаривали, вернее, спорили о чем-то.

— Знаете, о чем они спорят? — сказал Ясен Засурский. Он блестяще знает английский, настолько, что по произношению может определить, из какого штата родом говорящий.

— О чем? — заинтересовались мы.

— Вон тот, маленький, говорит своим товарищам: русские превосходят нас тем, что читают о нас все, а мы о них ничего не читаем, вот и не знаем ничего...

Я убежден, что тот говорил не для того, чтобы мы его слышали.

Одно из наиболее примечательных зрелищ в Нью-Йорке спиралевидный музей Гуггенхайма, построенный архитектором Фрэнком Райтом. Вернее, это даже нельзя назвать музеем, это сооружение, состоящее из выставочных залов. Когда мы были там, в трех нижних этажах производился ремонт, так что мы увидели не так уж много, однако несколько шедевров Шагала, Пикассо и Сальвадора Дали все же удалось посмотреть. Само здание построено — если привести очень грубое сравнение — по принципу нижней станции Тбилисской канатной дороги на Мтацминду... И каждому художнику на этой спирали отведен собственный, наполовину открытый, блок, комната или камера. Необычайно просто, как и все гениальное.

Ну, ладно, скажу уж пару слов и о Белом доме.

Белый дом ничем не отличается от обычных небелых домов. В нем три этажа. На третьем этаже живет президент со своей семьей. Белый дом, так же как и ООН, входит в турист-

ские маршруты. Мы увидели длинную очередь туристов, желающих посмотреть на жилище президента. Однако нас как почетных гостей пропустили без очереди. Мы внимательно изучили все знаменитые овалы залы, мебель, посуду и подарки, полученные тем или иным обитателем Белого дома в бытность свою на посту президента. В этом отношении Белый дом ничем не выделяется и не может соперничать с дворцами Европы и Азии, впрочем он на это и не претендует.

Как нам сказал гид, в первом этаже сначала помещалась конюшня, затем свинарник, потом снова конюшня, а позже — казарма. Сейчас там принимают наиболее выдающихся государственных деятелей разных стран.

Охрана президента провожает настроженным взглядом всех экскурсантов. В том числе, разумеется, и меня. Помнясь, у меня закружилась голова, а я не рискнул полезть в карман за таблетками — как бы чего не подумали. При этом у меня мелькнула мысль: если мне сейчас станет плохо, то лучшего места не найти: где еще за мной будут так ухаживать? Слава богу, все обошлось.

В охране я обратил внимание на удивительно стройную блондинку. На ней был редкостной красоты мундир, а крупное бедро украшал кольт. Вероятно, она там была главной, — так почтительно все заглядывали ей в глаза.

Из окна второго этажа я выглянул во двор. Высокий негр самой простецкой наружности поливал деревья. Я приветствовал его поднятой рукой и улыбнулся. Он тоже поднял руку и улыбнулся мне в ответ. Когда он поднимал руку, я заметил торчащий у него под мышкой, как термометр, револьвер с меня величиной.

Гид рассказывал: недавно какой-то мальчуган перелез через ограду и пустился бежать прямо к Белому дому. Охрана еле поймала его, такой он оказался прыткий. А когда его схватили, он заявил: очень уж хотелось посмотреть на президента и поиграть с его детьми.

— Ну, и чего же вы его не пустили, — пусть бы себе посмотрел на президента и поиграл с ребятами, — сказал я.

— Да, мы сами сначала так решили, но хорошенько поразмыслив, сообразили: этак Белый дом через неделю придется переоборудовать в детский сад, — с улыбкой отведил гид.

Возразить на это было нечего, он был прав.

Мне вспомнилась еще одна история, имеющая некоторое отношение к детям.

В Америке во многих магазинах и учреждениях стоят автоматы, разменивающие доллар центами. Кладешь в такой автомат доллар так, чтобы изображение президента находилось сверху, опускаешь ручку — и вместе бумажного доллара оттуда сыплется мелочь.

Оказывается, какой-то негр, голливудская кинозвезда, заказал себе в огромном количестве визитные карточки в форме доллара: «в форме», пожалуй, и не скажешь — эти визитные карточки представляли собою точную копию доллара, только вместо президента голливудский герой велел изобразить на них себя.

Ну, а эти бесенята — дети везде дети — попробовали разменивать эти визитные карточки в автоматах. Автоматы же охотно разменивали такие «доллары». Ибо, как выяснилось, автомат не отличает президента от негритянского киноактера и добросовестно разменивает визитные карточки, вовсе не интересуясь тем, кто на них изображен.

За неделю компания, выпускавшая эти автоматы, понесла большие убытки. Госдепартамент был вынужден просить кинозвезду прекратить выпуск визитных карточек, а те, которые дети уже успели разменять, были конфискованы государством.

Эту историю мне поведал хозяин магазина, где я разменивал доллар.

— Такие автоматы непрам следовало бы установить во время подсчета бюллетеней на президентских выборах, — посоветовал я. Хозяин магазина был негр. Он с сожалением покачал головой:

— Э-э, друг, где же ты раньше был?.. Я бы сейчас, может, на месте Картера сидел...

«Держи карман шире», — вертелось у меня на языке, однако я сдержался: не хотелось совсем его разочаровывать.

Кстати, о детях. Американцы не на шутку встревожены тем, как обстоит дело в школе с математикой, да не то что с математикой — с элементарной арифметикой. Дело в том, что ни один ребенок не утруждает себя зубрежкой таблицы умножения или правил деления, вычислением процентов или извлечением квадратного корня. Все эти процессы они выполняют легким нажатием клавиш электронных компьютеров, миниатюрных вычислительных машин, которыми завалены все магазины. Стоят они очень дешево, и все американские ребяташки носят их в кармане как спичечный коробок. Таким образом, детей остается учить лишь тому, как обращаться с этими вычислительными машинками. На это уходит, самое большее, — пятнадцать минут. А если ребенок способный — то и пяти минут довольно.

Вообще американцы растят детей в атмосфере трудолюбия и деловитости. Очень редко можно встретить американца, сюсюкающего со своим ребенком. Много времени уделяется спортивному воспитанию молодежи. На очень высокий уровень поднято воспитание детей в духе государственного патриотизма. Я говорю о «государственном патриотизме» потому, что патриотизма национального мне в Штатах наблюдать не приходится. Там можно встретить представителей различных наций, которые считают себя американцами, но в то же время гордятся своей национальностью.

Как видно, американские руководители ничего не жалеют для того, чтобы вместе с прочими добродетелями культивировать в детях если не ненависть, то по крайней мере чувство превосходства по отношению к Советскому Союзу или страха перед ним. В большой и обширной программе пропаганды этому вопросу отведено не так уж мало места.

Был с нами такой случай: Григорий Бакланов, Ясен Засурский, Александр Косоруков и я совершали прогулку на маленьком катере по Сан-Францисскому заливу. Бодман объявил

в рупор, что к нам приближается советский корабль «Максим Горький». Действительно, наш опломбированный белый лайнер ^{сходил} в порт в сопровождении двух маленьких буксиров.

Когда «Максим Горький» проплывал мимо, находившиеся на катере американские ребята буквально освистали его. Мне стало так обидно, что даже сердце заболело. Потом, видимо, кто-то сказал им, что на катере находятся представители Советского Союза, потому что они немедленно перестали вопить и перешли к другому борту.

Немного погодя я спустился в буфет. Ребята тоже оказались там — стояли в очереди за кока-колой. Было их человек десять. Увидев меня, они почтительно уступили мне очередь. Обида вдруг прошла, и я купил им всем кока-колу. Сначала они смутились и наотрез отказались, затем, когда я успокоил их, заявив, что я — советский миллионер и денег у меня куры не клюют, весело засмеялись и взяли предложенный напиток.

Сидин спросил:

— А правда, что в Советском Союзе учителя бьют детей?

— А как же! — отвечал я.

— За что же их бьют?

— Вот за такие глупые вопросы, — сказал я и шлепнул вопрошавшего по мягкому месту. Дети окончательно развеселились.

— Вам понравился Сан-Франциско? — спросила какая-то девушка.

— Нет, не понравился, — с напускной серьезностью ответил я.

— Почему? — удивилась девочка.

— Потому что целый день брожу по городу и никто ни разу не поздоровался со мной, — это вызвало у них еще больший смех.

— А вы правда хотите захватить Америку? — спросил вдруг мальчуган.

— Не скрою от вас — хотим! — признался я.

— Зачем? — насторожился он.

— Ну как же! Америка такая красивая и богатая страна, ты бы на нашем месте тоже не утерпел.

Я заметил, что мой ответ и обрадовал, и озадачил их.

— А зачем вы хотите нас захватить? — спросил в свою очередь я.

— Мы? Мы вовсе не хотим, — отвечал он, смутившись.

— Вот и слава богу, мы тем более не хотим, — я протянул ему руку.

Он протянул мне свою, я крепко пожал ее, прибавив:

— Смотри, уговор дороже денег!

— Уговор дороже денег! — отвечал он, улыбаясь. Мы поцеловались.

Катер тем временем завершил свой маршрут и стал у пирса. Мальчик вприпрыжку сбежал на берег.

Так в мае 1978 года в порту Сан-Франциско я заключил с подрастающим поколением Америки договор о взаимном ненападении. Дай бог, чтобы ни одно поколение не нарушило этого соглашения.

Одно время в своих фельетонах я всюю насмеялся над авторами путевых заметок: «Не успел наш серебристый лайнер подняться в воздух с аэродрома Шереметьево, как я встал и пошел в родную Грузию и чуть не разрыдался от тоски по дому...».

Зря я так, друзья мои, очень зря. И теперь, с опозданием на двадцать лет, я приношу этим людям свои извинения. Правда, не в Шереметьевском аэропорту, а к концу двадцатидневного путешествия, когда мы вернулись в Нью-Йорк и нам предстояло провести еще три дня в этом, уже раз виденном, опломбированном городе, у меня началась настоящая ностальгия. И приглашение в нью-йоркское советское консульство оказалось очень своевременным.

Если бы кто-нибудь видел нашу встречу с аккредитованными в США советскими людьми, он был бы тронут до глубины души.

Безграничная радость, объятия, поцелуи, ну и немного — слезы... Мы устроили небольшой литературный вечер и поделились с соотечественниками своими впечатлениями об Америке.

Начало моего выступления потонуло в дружном хохоте. Звучало оно, оказывается, так:

— Мои дорогие, любимые соотечественники, дорогие мои грузины... — Что я говорил, о чем рассказывал потом, я уж и не помню как следует.

Не хотелось бы закончить эти записки, совсем ничего не говоря о существующих в США расовых проблемах. Правда, общими сведениями по этому вопросу я не располагаю, ибо в течение крайне перегруженного двадцатидневного путешествия у меня не было ни времени, ни возможности заняться вплотную этой труднейшей проблемой, но нельзя не упомянуть о том, что само бросается в глаза.

В США явно ощущается расовая дифференциация населения. На самой верхней ступеньке этой расовой иерархии находятся, разумеется, американцы англо-саксонского происхождения. В самом низу — индейцы, пуэрториканцы и негры.

В общем, у меня осталось такое впечатление: нынешняя Америка напоминает уставленную черными и белыми фигурами гигантскую шахматную доску. Играют белые и черные. Правда, пока партия протекает с явным преимуществом белых, но этот турнир очень напряженный, сложный и длительный... Никто не знает, когда и как он завершится.

Дай бог, чтобы он закончился вничью.

Перевод Александра ЗЛАТКИНА

Редкий, как писали английские газеты, «поистине фантастический» успех выпал на долю Тбилисского государственного театра им. Ш. Руставели на международном фестивале в Эдинбурге, состоявшемся в августе—сентябре этого года. В фестивале приняли участие известные театральные коллективы Европы, Америки, Японии — всего около 300 трупп, давших в течение трех недель 5.000 представлений.

Как известно, театр им. Руставели показал на фестивале два спектакля: «Кавказский меловой круг» Брехта и «Ричард III» Шекспира.

Английский зритель восторженно принял оба спектакля, а английская театральная критика полностью разделила восторг своих зрителей:

«Спектакль «Ричард III» — подлинная сенсация. Зритель стоя аплодировал прекрасным грузинским актерам, одной из выдающихся театральных трупп мира...» («Гардиан»).

«Обе пьесы театра им. Руставели «Кавказский меловой круг» Брехта и «Ричард III» Шекспира поставлены блестяще...» («Фестиваль-79»).

«Незнание грузинского языка отнюдь не мешает пониманию того, что режиссер следует за основной линией шекспировской пьесы, воплощает ее идеи в удивительных образах» («Скотсмен»).

Приятно сознавать, что грузинский театр так широко прославил искусство своего народа, его культуру, развеял миф об унификации национальных культур и еще раз доказал многокрасочность советского театрального искусства, его силу и оригинальность.

Ниже предлагаем рецензию театроведа Паолы Урушадзе на спектакль «Ричард III».

Паола УРУШАДЗЕ

„ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ РИЧАРДА III“

«Жизнь и смерть Ричарда III»¹ — под таким названием шекспировская трагедия была поставлена в 1935 году в Ленинградском Большом драматическом театре режиссером К. К. Тверским. Спектакль этот, признанный в свое время современным, новаторским прочтением Шекспира, имел конкретную цель — «показать объективно историческую прогрессивность антифеодальной деятельности

¹ Постановка Р. Стура — театр им. Руставели, худ. М. Мшвелдзе, комп. Г. Канчели.

Ричарда)¹. Название спектакля вполне импонировало его основной идейно-эстетической направленности — воссоздать атмосферу событий времен войны Алой и Белой Роз и в рамках этих событий жить «житие» главного героя со всей возможной исторической художественной достоверностью.

Об этом спектакле 30-х годов мы вспомнили постольку, поскольку спектакль Роберта Стуруа, поставленный через 40 с лишним лет, носит то же название. Однако в данном случае оно несколько формального характера, и к имени Ричарда в данном случае более уместно было бы добавить определение «некий», а цифру III воспринять как нечто условное. Именно в этой своеобразной «отчужденности» названия от его сценической иллюстрации и следует искать жанровую специфику, а также общественный смысл «действия», разыгрываемого на подмостках театра им. Руставели. Ведь то, что показывает нам театр, — это меньше всего хроника происшедших в прошлом событий и того меньше трагедия с ее неизменным прогностическим содержанием двух различных по своей сути начал... Перед зрителем под шекспировским названием и с помощью шекспировского текста разыгрывается трагифарс на тему «борьбы за власть», трагифарс, преследующий цель показать не конкретную личность, действующую в конкретных исторических обстоятельствах, а вскрыть самую бесчеловечную суть единовластия, являющегося миру в различных обликах и масках, выработавшего за столетия свои собственные «нравственные» понятия и нормы и что самое главное, в каждом своем новом воплощении все более и более разрушительного и жестокого.

Место действия спектакля представляет собой клочок «ничей земли», которую отметили своими приметамы как прошлое, так и настоящее и, как это ни странно, будущее, будущее такое, каким оно будет, если победоносному шествию Ричардов не придет конец. Кстати, будущее яснее всего «читается» во всей сценической обстановке, напоминающей бункер, чудом уцелевший после чудовищной катастрофы. Алюминиевые его стены изглоданы огнем, в них зияют, словно прошитые тяжелыми снарядами, широкие отверстия, из которых будто из небытия будут появляться тени и «тени теней» тех, кто несет ответственность за весь этот хаос. Режиссер оживляет их для того, чтобы разыграть на сцене одно из звеньев трагедии, приведшей мир к подобному исходу. Поэтому все, что выстраивается режиссером на сцене, воспринимается нами как своего рода «вспоминание», вернее «напоминание о будущем», как предупредительное — пристальнее взгляните в мышиную возню Ричардов всех толков и рангов, дабы мир не превратился лишь в скопище инвентаря различных эпох, упакованного в ветхую и непрочную алюминиевую оболочку.

Вот в тягостное и многозначительное безмолвие сцены начинают проникать чистые, отчетливые пассажи заигранного этюда Черни. Звуки этюда сопровождают выход женщины в черном (М. Чахава). Вот она надевает очки... раскрывает книгу... Но намерениям ее не суждено осуществиться. У того, что произойдет на сцене, своя логика, свои законы. Герои будущего «действия» не нуждаются в представлении. Когда пробьет их час, они сами, без чьей-либо по-

¹ История советского драматического театра, в 6-ти томах, том 4, изд. «Наука», Москва, 1968, с. 132.

мощи, вынесут себе приговор, так как каждый из них не только участник сценических событий, но и свидетель, дающий о своем герое самые верные и беспристрастные показания.

Взмывает вверх белое полотнище, и перед зрителями открывается сценою с зияющим посередине темным отверстием. Перед ним в вакхическом безумии танцуют пары. Их фигуры, отражающиеся на зеркальной поверхности алюминия, лишены конкретных очертаний, движения то замедленны, то, наоборот, излишне порывисты и беспорядочны. За конвульсиями толпы, прислонясь к краю отверстия, наблюдает человек в сером френче. Это Ричард. Происходящее на сцене мы видим его глазами — именно так отразилось в его представлении «веселье и напевы песни нежной», которые, по словам Шекспира, «сменили грозный бой и звуки труб». Он ждет. Ему нужен эффектный выход, иначе нет смысла появляться перед публикой. Вскоре буйные ритмы смолкают, пары в изнеможении падают на пол, и Ричард, улыбаясь довольно и в то же время несколько смущенно, движется вперед, минуя на пути расprostертые на земле тела. После подобной экспозиции он может наконец представиться зрителю. И тут же по его зову рядом с ним появляется Ричмонд¹ (А. Хидашели). Ричмонд в спектакле театра им. Руставели своего рода духовный двойник Ричарда. В Ричмонде Ричард видит своего преемника и поэтому щедро неприкрыто расточает перед ним все тайны своего лицедейства, посвящая его в святая святых своей злодейской кухни. Произнося свой первый монолог, он «работает» на него, с удовольствием демонстрируя перед ним всю свою изюность, все свое физическое и нравственное уродство. Он словно приглашает Ричмонда сполна насладиться затейной им игрой, в которой его внешняя ущербность будет отнюдь не помехой, а наоборот — лишним козырем. Уже с первых же слов и действий Ричарда — Чхиквадзе становится ясным, что Роберт Стурца стремится к полной дегероизации главного персонажа трагедии. Шекспировский Ричард невольно вызывает в нас восхищение блистательной логикой своих поступков, смелостью, неустрашимостью, заставляя в конечном счете сожалеть о том, что все эти незаурядные человеческие качества направлены на выполнение цели, неизменной и бесчеловечной по своей сути — достичь власти и тем самым вознаградить себя за физическую ущербность и неполноценность. Ричард — Чхиквадзе всего этого попросту лишен. По замыслу режиссера, ему нет нужды самоутверждаться. Он с самого же начала преисполнен чувства своего превосходства над окружающими. То, что он горбат и хром, ему отнюдь не мешает. Да и так ли он уродлив на самом деле, как ему самому хочется казаться?! Внешняя ущербность в нем сродни с серым френчем — средство своеобразной мимикрии, необходимой ему до тех пор, пока окружающие не убедятся в его мнимой заурядности и не увидят в нем лишь удобную замену столь же ущербному и уродливому королю Эдуарду.

Логика режиссерского построения сценических событий и характеров вполне оправдывает подобное решение главного образа пьесы. В спектакле нет ни одного более или менее положительного персонажа. Здесь все до единого — носители зла, каждый, прямо или

¹ По Шекспиру, Ричмонд появляется лишь в последнем акте трагедии.

косвенно, соучастник Ричарда. В режиссерской трактовке действующие лица как бы персонифицируют зло во всей его многоликости и неисчерпаемых возможностях. Все они Ричарды, — говорит нам режиссер, — разница лишь в масштабах и потенци. В его спектакле если Ричард и сумел победить, то только потому, что оказался самым хитрым, самым коварным, самым жестоким и циничным.

Сделав с самого же начала свой замысел отчетливым и зримым, Роберт Стуруа, как обычно, стремится сосредоточить наше внимание не на сюжете, а на тех средствах и способах выразительности, благодаря которым его концепция шекспировской хроники становится наиболее наглядной и осязаемой. Особо впечатляет в этом отношении «выход» участников действия — своеобразный парад-алле уродов — физических и нравственных. В каждом из них уже заложена полная программа их действий и поступков. Каждый из них в своей видимой однозначности олицетворяет отдельные пласты зла, в гуще которого в конце концов суждено увязнуть Ричарду — их плоти и крови.

Первым после Ричарда «представляется» зрителю Кларенс (Г. Харабадзе); хохочущая громадина с внушительным торсом, едва прикрытым тяжелой шубой, эдакая пародия на чинных и застывших в сознании своего превосходства персонажей гольбейновских полотен. Брата короля ведут в тюрьму! Здесь есть над чем посмеяться... И Кларенс предлагает каждому — на сцене и в зале — принять участие в его буйном веселье. Первым на его призыв откликается Ричард. Момент встречи двух братьев приобретает в спектакле несколько неожиданный ракурс: прием трагической иронии, использованный в этой сцене Шекспиром, сменяется здесь откровенной буффонадой, в которой у Кларенса, бывшего убийцы, роль простака Пьеро, доверчиво попавшего в расставленные Арлекином сети.

Не успевает оставить сцену Кларенс, как перед зрителями появляется новый персонаж — Хестингс (К. Кавсадзе), только что выпущенный на свободу лорд-канцлер. В спектакле он главный антагонист Ричарда в борьбе за корону. Между ними есть даже некоторое сходство: наполеоновский грим, серый френч, постоянная готовность к перевоплощению.

Режиссер и Хестингсу дает возможность «заявить о себе» особым выходом: из зияющего проема он появляется словно из небытия, вызванный к жизни нуждающимися в нем невидимыми силами. У него отрешенный взгляд человека, долгое время пребывающего в летаргическом сне, движения замедленны, почти статичны. И тем не менее, он уже успел уяснить свою формальную роль — роль зиждителя законной королевской власти, недаром в руках у него флаг (вернее жалкие его остатки), а на устах фраза, которую он неоднократно повторит в этой сцене: «Что такое, господа, орлы томятся в клетке, воронье летает на свободе!». Таким образом, Ричард не приходится противопоставлять себя окружающим, их моральным принципам и устоям. По замыслу режиссера его задача несколько упрощена — оставаться самим собой и при помощи себе подобных медленно, но верно подбираться к короне. Зрителю дается возможность понять это с самого же начала, чтобы затем с неослабным вниманием он мог следить за поворотами и изгибами режиссерской фантазии, измышляющей поистине бесчисленное множество средств и приемов для донесения основной сути своего замысла.

Предлагая нам взглянуть на прошлое из сегодняшнего далека, режиссер не только смещает временные рамки, но и довольно произвольно использует изобразительные приемы различных театральных жанров, создавая новые ракурсы видения происходящего и в соответствии с этим — новые оценки действий и поступков героев.

Излюбленным приемом режиссера в этом спектакле становится гротеск. Им отмечены действия персонажей, им отмечен и ряд узловых сценических положений. Причем, гротеск здесь используется далеко не в шекспировском плане как способ выразить на сцене все многообразие жизни, гармонию различных начал, а скорее как возможность более выпукло показать всю абсурдность и низость порывов, владеющих участниками событий, как средство превратить привычное в неожиданное, заставив нас по-новому осмыслить знакомые сценические коллизии.

Гротескно и спясть-таки с налетом буффонады решена встреча Ричарда с леди Анной (Н. Пачушвили).

Если по Шекспиру в «сцене у гроба» зритель впервые осознает всю силу умения Ричарда безжалостно подчинять своей воле людей, превращать их в слепое орудие своей интриги, то здесь он становится свидетелем того, как под внимательным взглядом Ричмонда и носильщиков Ричард разыгрывает бродячий сюжет о «злодее и невинной жертве». При этом жертва действует по всем законам виктимологии, провоцирует Ричарда своей беспомощностью и непоследовательностью. Единственно, на что способна леди Анна в этой сцене, — это на минутный взрыв ярости, после которого она тут же у гроба покорно отдается своему врагу, и возникающая в этот момент светлая и трепетная мелодия еще резче оттеняет низость и противостоительность происходящего.

Всю эту сцену Рамаз Чхиквадзе сознательно проводит в духе соблазнителя самого дурного толка, не гнушающегося ни штампами, ни избитыми приемами. И действительно, его Ричарду не надо притворяться искренним и взволнованным. Он прекрасно знает, что любое его слово точно попадает в цель и что леди Анне нет дела до звучащих в них презрения и насмешки. В следующей после ухода леди Анны «сценке с шалью» он все еще продолжает глумиться над ней, а уходя со сцены и подлаживая свой шаг под звуки игривой мелодии, жеманно помахивая при этом розой, он глумится над всеми, кто в простоте своей душевной поверил в существование таких бесполезных истин, как любовь к ближнему, сострадание и жалость к слабому, уважение к памяти усопшего...

И только теперь после столь торжественного и многозначительного ухода Ричарда на сцене появляется то же странное существо — женщина в черном, с которой зрителю уже довелось встретиться в начале спектакля. В руках у нее неизменная книга, которая в последующей сцене, когда она превратится в королеву Маргарет, станет Книгой судеб для тех, кто прямо или косвенно способствовал ее низложению. Но теперь она вышла для того, чтобы объявить, наконец, название вот уже почти полчаса идущего на сцене действия... «Жизнь и смерть Ричарда III», — произносит она, возвещая начало нового эпизода, нового фрагмента притчи о честолюбцах.

Таким образом, все, что мы видели до сих пор, оказалось ничем иным, как своеобразным прологом к истинной завязке, необычайно действенной экспозицией спектакля, в которой нам был представлен не только абрис режиссерского замысла, но и намечены те

изобразительные средства и стилистические приемы, при помощи которых Роберт Стурва будет и в дальнейшем предлагать зрителю свой метод прочтения шекспировской хроники, свою установку на ее смысл и значение в наше время.

Не успевают женщины в черном покинуть сцену, как перед зрителями появляется новая группа действующих лиц — королева Элизабет (С. Канчели) и ее присные. Почти одновременно появляется Ричард со своими соратниками. Среди них и Ричмонд. Пока еще сторонний наблюдатель, пока еще «в науках», он с усердием добросовестного ученика стремится усвоить все, что так щедро раскопают перед ним представители старшего поколения, понаторевшие в интригах и кознях. Атмосфера до предела накалена — обе стороны готовы к бою (по Шекспиру — столкновение провоцирует Ричард). Если в первых сценах спектакля Ричард во что-то играл, кого-то разыгрывал, кому-то подыгрывал, то здесь он — среди равных ему по духу людей, ему нет нужды притворяться, лицедействовать, перевоплощаться. Его здесь слишком хорошо знают. Следует стремительная смена кадров (Ричард, цедящий оскорбления; Элизабет ударяет Ричарда свитком по голове; они оба на авансцене, обмениваются колкостями и, наконец, железная трость Ричарда падает к ногам Элизабет, как вызов), и перед нами уже смертельные враги, готовые вцепиться друг другу в глотку. Но вдруг шум и суматоха стихают. Наступает тишина, и все участники этой сцены застывают в оцепенении. Застывают перед ликом самой Вечности. Вечность взирает на них глазами королевы Маргарет (она же — женщина в черном). В руках у нее томик (Шекспир? Книга судеб?), она щедро расточает пророчества, и при этом голос ее не дрожит, не срывается от злобы, а, наоборот, спокоен и полон достоинства. Знаменательно, что в последующих сценах именно она закрывает глаза Бакингему и Хестингу и на границе бытия и вечности дарует им частичку своего прозрения; Хестингс предречет гибель стране, отданной на произвол честолюбцев; Бакингем заговорит о возмездии, неминуемом для тех, кто посягнул на права ближнего, кто пролил кровь во имя власти.

Неожиданными находками и необычными ракурсами изобилует и следующая сцена — сцена убийства Кларенса. В начале этой сцены режиссер использует принцип параллельного монтажа эпизодов. Это дало ему возможность не только сэкономить сценическое время, но и несколько ослабить внимание зрителя к монологу Кларенса, в котором он предстает поэтом и мечтателем, заставляя глубоко сострадать его дальнейшей участи. В спектакле же Роберта Стурва, с его тенденцией деромантизации образов, подобная характеристика брата короля выглядела бы неуместной. Посему режиссер полностью сводит на нет весь пафос этой сцены. В его трактовке Кларенс произносит свой монолог как заученный урок — ему словно самому странно, что его посетило подобное видение. А если вспомнить, что герои спектакля на рубеже бытия и вечности начинают внезапно прозревать, доходя до скрытых для них доселе истин, монолог Кларенса можно воспринять как внезапную вспышку света, озарившую перед смертью его косный и неповоротливый ум. Поэтому и сцена смерти Кларенса полностью лишена трагизма: его весело прикончат (весьма условными приемами) двое убийц в одеждах андерсеновских героев, и, прежде чем уволочь его туда, откуда он явился, — в небытие, один из них произносит небольшую «проповедь»

с совести — вещи излишней и никчемной в подобных делах. И это никого не удивит — в спектакле даже третьестепенные персонажи наделены даром философствования — ведь их жизненный опыт — это несколько столетий старше, как Брекенберри (Р. Микаберидзе), потворствуя убийству Кларенса, способен глубокомысленно изречь: «Сколько душевных мук терпят они ради достижения призрачного величия»... И словно насмешкой над этой фразой с ее пафосом и ложнотрагедийной выпендренностью являются события последующей сцены — сцены смерти короля Эдуарда, в которой Ричард, его приспешники и враги, отнюдь не испытывая «душевных мук», не проливая крови, прикончат короля и тем самым ускорят приближение заветного часа.

С самого же начала этой сцены режиссер предстает перед нами как истинный мастер неожиданных эффектов, как весьма смелый преобразователь традиционных норм и понятий. Ведь то, что появляется перед зрителями в образе короля Эдуарда, превышает самые смелые предположения и домыслы: цепляясь за своеобразное устройство наподobie детской ходульки, из зияющего проема прямо на зрителя, расточая бессмысленные улыбки, движется непонятое существо, лишь отдаленно напоминающее человека. В сравнении с ним даже Ричард кажется олицетворением физической красоты и гармонии. «Старания» близких, чревоугодие, дурные страсти — все это наложило на облик короля неизгладимую печать вырождения, и все это с предельной откровенностью и поистине беспредельной самоотдачей воплощает на сцене А. Махарадзе. Его Эдуард — это король-ширма, «безумец на троне», функция власти, полностью лишенная каких-либо зримых аргументов — живое олицетворение агонии и распада. Он опасен, ибо невменяем. В буйстве может унижить, растоптать. Но все это ничего не меняет в поведении окружающих. Отвратительное чудовище, глумящееся над людьми, он ни в ком не вызывает почтения, как и его вылинявшее знамя, которое треплет всякий, кому не лень, как и его корона, которая после его смерти будет таинственным образом размножаться, венчая голову каждого, кто мыслит и не мыслит о власти.

Затейный им ритуал, этот шутовский акт, до которого мог додуматься лишь безумец, окружающие поддерживают лишь постольку, поскольку знают, что его вдохновитель обречен... И умрет он не из-за болезни и не потому, что не смог пережить смерть любимого брата, а подчиняясь своеобразной диалектике этого спектакля: от древа зла отсеклась подгнившая ветвь для того, чтобы дать путь новому росту, более ядовитому и смертоносному.

Однако сам процесс отсечения этой ветви показан в спектакле с предельной, можно сказать, физиологической откровенностью, граничащей с эстетикой театра жестокости. Этим режиссер несомненно хотел показать нам самую суть происходящего во всей ее неприглядной наготе, во всей ее низости. Но в то же время нельзя не отметить, что в своем стремлении потрясти зрителя, заставить его содрогаться от ужаса, он действует излишне лобово и прямолинейно, подчас и вовсе забывая о требованиях художественной меры.

Все эти «накладки» в известной степени искупаются в следующей сцене — своего рода пародии на панихиду по королю, в которой текст «заплачки» произносит герцогиня Йорская. Этот образ — образ истинной «матери уродов», необычно интересный своим внеш-

ним, предельно гротесковым решением, органически вписывается в общую изобразительную ткань спектакля: по сцене движется странная, донельзя вычурная фигурка — не человек, а скорее марионетка, которая, прежде чем попасть на сцену, долго пылилась на крючке в бутафорской. Ее движения полны кукольной, заученной грации. Она полностью безжизненна, хоть и произносит прекрасные слова о долготерпении и кротости духа, коих не хватает ее сыну Ричарду. Но слова ее для присутствующих такой же анахронизм, как и она сама, и нет ничего неестественного в том, что Ричард, устав от ее наставлений, без должного сыновнего почтения берет ее в охапку и, снисходительно улыбаясь, перекидывает через треножник как старую и ненужную тряпку. Ведь у него есть дела поважнее — снять корону с мертвого короля. И пусть пока она не принадлежит ему, важно, что он прикоснулся к ней, ощутил ее в своих цепких руках.

Итак, первый акт спектакля закончился смертью короля Эдуарда (по Шекспиру, мы узнаем об этом из 2-й сцены II акта). За все это время Ричард хоть и был непрременным участником действия, но тем не менее, ход событий направлял не он; наоборот, события работали на него. Все это время он все еще состоял в «чинах небольших», скромно и терпеливо ожидая своего часа, зная, что существуют силы, которым выгодно и необходимо его возвышение. Надо лишь подладиться к ним, направить их в нужную сторону.

Вторая часть спектакля полностью посвящена иллюстрации методов и способов, при помощи которых, уже в начале III акта, Ричард предстает перед нами королем.

И снова словно напоминание: «Жизнь и смерть короля Ричарда Третьего». На этот раз эти слова произносит королева Элизабет, произносит на коленях под балдахин, словно приглашая нас принять участие в разыгрываемой на сцене ритуальной игре «в цари», рассказывающей о том, как достигается величие, какими средствами оно добывается.

Роль, заводилы в этой игре поначалу предоставляется Бакингему. Бакингем в спектакле — идеальный «делатель временщиков», с полуслова понимающий, что от него требуется. Именно он первый изрекает сакраментальную фразу: «Решено, на трон должен взойти Ричард».

Но путь Ричарда к власти отнюдь не усеян розами. В спектакле он не единственный претендент на престол. Хестингс — лорд-канцлер — здесь тоже один из тех, кто почувствовал в своих руках соблазнительный холодок короны.

В спектакле он опасен для Ричарда не как охранитель законных основ власти, а как его собственная ипостась. Они оба заряжены одним знаком, и союз между ними невозможен. Но кто-то должен успеть нанести удар первым. Первым успеваеет это сделать Ричард. Расправа с Хестингсом в спектакле — это блестящий экспромт Ричарда, выполненный им на одном дыхании. Предлог пугаковый — сухая рука. Во времена Шекспира наводить на человека порчу считалось серьезным преступлением, но в спектакле, где идет игра в открытую, это всего лишь нападение с негодными средствами, цель которого вызвать искомую реакцию. Трезвый и расчетливый Хестингс, заранее запрограммированный на сложную игру, произносит роковое «если». Именно это и требовалось доказать. Ричард мгновенно приговаривает его к смерти. Сцена смерти Хестинг-

са столь же условна, как и сцена смерти Кларенса. И ей также сопутствует минутное прозрение. Женщина в черном протягивает Хестингсу книгу — томик Шекспира, эту извечную книгу Судеб, и он покорно читает по ней свои предсмертные слова, чтобы убедиться в том, что не он первый и не он последний хестингс на этой земле...

В спектакле Роберта Стуруа есть еще один персонаж, над которым Ричард глумится столь же изощренно. Это — народ, народ, который от начала до конца безмолвствует. Кстати, и в шекспировской хронике народ весьма безучастно относится ко всему происходящему, что также, вместе с рядом других объективных причин, способствует возвеличению Ричарда. В спектакле этот момент особо углублен. Народ здесь не просто растерян оттого, что не в силах понять все хитросплетения действий правящей верхушки. Он по сути дела — такая же пассивная жертва, что и леди Анна. Фарс, который разыгрывают перед толпой Ричард и Ричмонд в роли смиренных монахов и Бакингом в роли корифея хора, от начала до конца шит белыми нитками, но зрителю (народу) нет до этого никакого дела. Для него главное не то, «как это делается», а сам результат, а результат один: кто-то должен стать во главе государства. И какая разница, будет ли это Хестингс, Эдуард или Ричард... Изобразительное решение этой сцены также призвано подчеркнуть всю ее смехотворность и бессмысленность: идет дождь — у всех над головами зонты. Природа как бы потворствует Ричарду в его стремлении создать атмосферу обманчивого равенства. А когда в конце этой сцены на головах представителей народа оказываются короны, то это уже не что иное, как апофеоз мнимой демократии — иллюзия, столь характерная для начального этапа правления диктаторов ричардовского толка.

И сразу же после того, как народ «признает» Ричарда, Роберт Стуруа подключает к действию эпизод, которого вообще нет в шекспировском тексте: Маргарет призывает Ричмонда бежать, собрать войско и двинуть его против узурпатора. Тем самым как бы выносятся на поверхность основная закономерность развивающейся в спектакле цепной реакции зла: так же как в недрах правления Эдуарда зарождался злой гений Ричарда, так и Ричард подготовил себе воспреемника, которому, чтобы выжить и победить, надо, прежде всего, уничтожить своего наставника.

И знаменательно, что в спектакле Ричмонд порывает с Ричардом в момент, когда тот уже достиг своей цели... Вот он держит речь перед народом. Мощные аккорды баховской «Аве Марии» подчеркивают ее зловещее звучание и в то же время создают своеобразный контрапункт: лживое, обманчивое величие и величие истинное, вечное, как бы сливаются в единый аккорд, но не взаимосвязываясь, а наоборот, оттеняя и как бы определяя друг друга. Соучастники Ричарда настораживаются. Это вовсе не то, чего они добивались. Ричард — рядовой придворной мафии — на их глазах превращается в грозную силу, которая не потерпит противодействия. У него, оказывается, есть своя программа, свой план действий. И гуг все взоры обращаются к Ричмонду. Выразителем тайных помыслов окружающих становится респектабельный лицедей Стенли (Б. Кобалхидзе). Новоявленного антимиессию должен уничтожить его любимейший ученик и сподвижник. И Ричмонд готов это сделать — ведь платой ему обещано отнюдь не тридцать сребреников, а целое государство.

Но прежде чем Ричард сумеет победить, события на сцене идут своим ходом, приближаясь к заранее известному концу. И ~~недалеко~~ на протяжении всего действия на сцене присутствует новый персонаж — шут (А. Махарадзе), этот неизменный резонер шекспировских пьес. Взмахом ричардовской трости он расставляет необходимые акценты, пародирует героев, высмеивает их действия и поступки. Нелицеприятный комментатор событий, он призван на сцену режиссерской фантазией для того, чтобы подчеркнуть всю тщету и суетность происходящего, логическую предопределенность его исхода. И, действительно, все, что происходит на сцене абсолютно закономерно в свете приближающейся развязки. Новому властелину надо создать новый государственный аппарат и в то же время укрепить свое положение. Первой жертвой наметившейся «чистки» становится главный исполнитель — Бакингом. При новом направлении он нежелательный свидетель — слишком много знает. И вот Бакингу устраивается экзамен. От его сообразительности и находчивости зависит очень многое — жить ему или умереть? Задавая ему наводящий вопрос: — Жив маленький Эдвард — ты меня понял? — Ричард заглядывает в бумагу как заправский экзаменатор в билет, выпавший экзаменуемому. Бакингом допускает большую оплошность — требует тайм-аут, тем самым давая Ричарду формальное право подписать ему смертный приговор. То, что произошло Бакингу — «делателю королей», непростительно Бакингу, уже сделавшему свое дело. Он должен умереть и умирает так же, как и все жертвы Ричарда, — внезапно, отчуждаясь от самого себя, только теперь постигая смысл ранее недоступных ему истин. Женщина в черном, ласковая смерть, завяжет ему глаза черным платком, а он напомним ей ее же пророчество и с горечью признает, что все происшедшее с ним не что иное, как возмездие за «тяжелый гнет его притворных клятв».

Очередной взмах трости шута обращает наше внимание на новое событие. Душераздирающий крик королевы Элизабет возмущает о гибели принцев. Содрогающийся от ужаса Тиррель сообщает Ричарду о выполнении его приказа, и вслед за этим из люка поднимаются призраки убиенных принцев, держа в руках то, что послужило причиной их гибели — корону. И тут на наших глазах Ричард начинает внезапно обмякать — фигура его теряет прежнее величавое очертание — чувствуется, что соки, питавшие его энергию, постепенно иссыкают, и он уже явственно ощущает приближение силы, более грозной, более мощной и жизнестойкой.

Словно Антей к земле припадает он к матери, надеясь хоть в ней почерпнуть утраченные силы. Но и мать ничем не может помочь ему, кроме как проклятиями, звучащими в ее устах как самое искреннее благословение. А агония Ричарда продолжается.. Множится и множится число призраков. Под звон колокольчиков появляются леди Анна, Хестингс, Бакингом. Своеобразным рефреном повторяется через равные промежутки времени появление маленьких принцев... И вот Ричард вступает на грань, отдаляющую его от бытия. Прозрение его страшно. Зримым воплощением его совести становится женщина в черном — вездесущая королева Маргарет.

Шут объявляет финальный эпизод под названием: «Смерть короля Ричарда». Но в этом названии нет и намека на то, что предстоит нам увидеть.



06.03.59
312.001.01033

Знаменитое Босвортское сражение решено в спектакле как магический обряд, символизирующий умирание и воскрешение его в новой, более смертоносной оболочке. Сцена наполняется гудением. В прорезях громадного полотнища, создающих иллюзию уходящего пространства, сшибаясь мечами и отталкиваясь друг от друга, движутся два мифических существа, из которых одному суждено погибнуть, ибо у этого обряда нет другого исхода. И гибнет тот, в ком уже окончательно иссякли живительные силы, кого вечность уже отметила своим ледяным прикосновением. И, подползая к авансцене, путаясь в полотнище, всосавшем его, будто трясина, Ричард в последний раз «заявит» о себе криком: «Полцарства за коня!», и этот крик станет его предсмертным хрипом. Ричмонд же, приняв в руки корону, медленным шагом подходит к помосту, столь же медленно, не спуская взгляда с короны, поднимается на самый его верх и застывает в грозном и зловещем молчании. Но внимание зрителя обращено уже не на него, а на коленопреклоненного шута, забывшего роль стороннего наблюдателя, устремившего на нас взгляд полный недоумения, отчаяния и страха—взгляд, в котором ясно читается: «И ныне, и присно, и во веки веков?»

Новая сценическая редакция шекспировской трагедии «Ричард III», предложенная театром им. Ш. Руставели, пусть далеко не традиционная, но остро злободневная, убеждает и захватывает пафосом обличения зла, равно как и потворства злу, слепого ему подчинения, полного отрицания не деяний Ричарда Глостера как продукта и жертвы конкретных обстоятельств, а самого «ричардства» как исторически обреченного социально-политического явления.

МИХАИЛУ МРЕВЛИШВИЛИ—75 ЛЕТ



75 лет... Много это или мало? Ведь это целая эпоха в жизни страны со своими незабываемыми вехами. В бурные дни становления Советской власти он родился как писатель. В пору зрелости вместе со всем народом пережил тяготы Великой Отечественной. Возмужали сыновья, подрастают, как молодые деревца, внуки, а на полках растут ряды книг, которые тоже, как дети, выстраданы им, рождены в муках... Романы, новеллы, пьесы, статьи по различным вопросам литературы и искусства — и в каждом из этих произведений он оставлял частичку себя, своей широкой и щедрой души.

Вот стоит на полке его первый роман «Инон», вышедший

в 1926 году и уже тогда обративший на себя внимание. А вот здесь вперемешку пьесы «Лавина», «Бараташвили», «Пламенный мечтатель», «Тбилисские новеллы», пленившие читателей своей лиричностью, повести «Кинжал в золотой оправе», «Очаг Харатели», тоже впоследствии инсценированный и шедший с успехом на сценах грузинских театров. И снова роман — «Роковой поворот». А вот и переводы его книг на русский и другие языки братских народов СССР.

Довольно много места занимают подшивки журнала «Литературная Грузия», главным редактором которого он был долгие годы.

Какую из этих книг он любит больше всего? Да все. Потому что они, разлетевшиеся по стране, дороги ему одинаково, потому что они — плоть от плоти его. И в них отражена вся его жизнь с ее победами и разочарованиями, с ее радостями и утратами.

75 лет... Так много это или мало? Он еще не решил для себя, потому что рано подводить итоги.

И сегодня, в день 75-летия известного писателя, весь коллектив и редколлегия журнала «Литературная Грузия» поздравляют дорогого Михаила Николаевича Мревлишвили и, тепло вспоминая годы совместной работы с ним, желают ему здоровья и долгих лет жизни.

Ладо ГУДИАШВИЛИ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ

В ПАРИЖЕ

...В 1919 году в здании нынешней Картинной галереи Грузии экспонировались работы грузинских художников. Я представил тогда на суд зрителей большое полотно «Открытие Тбилиси», «Солнцеликая», «Рыба форель», «Хаши», «Кутеж друзей» и другие работы.

Эта выставка и решила вопрос о поездке во Францию двух художников — Давида Какабадзе и меня.

Настал день нашего отъезда... Мы ехали в Батуми, от туда морем — в Италию. В Батуми нам пришлось несколько дней ждать. Каждый день мы ходили к причалу, ожидая появления корабля. Как-то раз, когда мы были неподалеку от харчевни, донеслись до нас звуки дудуки. Мы пошли туда. За столом сидели карачогели... Высокий, стройный юноша так лихо отплясывал кинтаури, что мы, восхищенные его танцем, присели за соседний столик: дело в том, что танцор был негр. Давид, пораженный, поинтересовался, откуда он родом.

— Судьба забросила меня в Грузию совсем еще ребенком, — сказал нам негр на чистейшем грузинском языке. — Мне здесь нравится, поэтому я не жалею на судьбу.

Я спросил его, давно ли он танцует.

— Как себя помню, — ответил он.

Наконец через несколько дней появилось долгожданное судно. Это был итальянский корабль «Франс Жозеф» — полупассажирский, полугрузовой.

Грустно было прощаться с родиной. Солнце садилось, и сгущались сумерки. Корабль уходил в море. Бледный силуэт гурийских гор постепенно сливался с гладью воды... Тоска охватила сердце. Мы не сказали друг другу ни единого слова до следующего дня.

...И вот Стамбул. Несколько часов для прогулки по городу. И снова в путь.

...Вдали показались берега Италии. Презы нашей юности становились явью. Мы прожили в Риме полтора месяца.

Отрывок из книги воспоминаний известного грузинского художника Ладо Гудиашвили, вышедшей недавно в издательстве «Накадули». Литературная запись Тины Кобаладзе.

ца!.. Мы не думали о хлебе, переполненные красотой великого города, великим искусством Италии... За короткую свою жизнь человек может не успеть увидеть многого, но в Риме он должен увидеть непременно, Рим и вообще Италию, должен увидеть собор святого Петра, Сикстинскую капеллу, константиновскую триумфальную арку, склеп Медичи, сотворенный великим Микеланджело, склеп самого Микеланджело, его Моисея... Поистине поразительным, высшим проявлением человеческого гения является скульптура Моисея... И еще непременно нужно увидеть Колизей и еще... Трудно перечислить все.

Здесь я впервые почувствовал фантастическую силу творческих возможностей человека... Каждый, кто хоть раз ступил ногой на римскую землю, — писатель, художник, музыкант — по-своему ощущал величие искусства... Италия — это тот уголок земли, который ежесекундно воочию убеждает в удивительной силе искусства.

Безвозвратно ушедшие дни, они живут во мне, живет во мне вечный город Рим. И все же... И все же... Величайшая любовь моя, пересилить которую могло только чувство к родине, к моей Грузии, отдана Парижу.

...Париж... Я могу без конца повторять это слово. Оно обкладает для меня какой-то невероятной магической силой... Каких только восторженных слов не читал я о нем, и все-таки меня не покидает ощущение, что в них нет того самого главного, чем Париж так покоряет все сердца. И мне, конечно, не под силу найти такие слова. Знаю одно, Париж дышит во мне, я чувствую в себе биение его сердца. Слышу голоса Парижа, ощущаю краски Парижа, его душу. Париж — кусочек моего сердца, частица души моей.

Спасибо Парижу!..

...Из окон поезда, мчавшего нас к Парижу, виднелись контрастные картины итальянского пейзажа, напоминавшие нам родную Грузию и переполнявшие поэтому наши сердца нежностью и теплом. До глубокой ночи мы с Давидом не сомкнули глаз, глядя в окно и ничего уже не видя в наступившей южной мгле. Поезд остановился на какой-то станции. Чуть поодаль я увидел кран и со всех ног кинулся за водой. Наполнив бутылку, я побежал к поезду, однако он тронулся, но я, к счастью, успел в последнюю секунду вскочить на подножку. Ночь. Холод. А дверь в вагон не открывается. Делать было нечего. Я так и остался на подножке. Поезд мчался через тоннели, им, казалось, не было конца. Но вот при первой же остановке я бросился к своему вагону. Надо было видеть Давида! Решив, что я остался на станции, он ужасно волновался. Я был так измазан сажей, что Давид не сразу узнал меня... Когда он пришел в себя, к нему вернулось чувство юмора, и он, смеясь, сказал мне, что я похож на того самого негра из Батуми.

...В Париже шел дождь. Вагоны быстро опустели. Мы же не двигались с места. Не верилось, что это он и есть, Париж. Надо было спросить, говорили мы друг другу, может, мы приехали куда-то в другое место. Языка мы не знали, только в поезде выучили несколько французских слов.

Подождал полицейский. Поняв, что мы чужестранцы, по-
безно угостил нас папиросами и вызвался проводить... Объяс-
нив, как проехать к студеченской гостинице, он распрощался с
с нами. Так тепло встречал нас первый заговоривший с на-
ми француз.

...А когда рассвело и прекратился дождь, мы стали по-
степенно узнавать город нашей мечты и сразу и навсегда влю-
бились в него и доверились ему. Словом, стали на время деть-
ми Парижа.

Прошло уже несколько дней, мы понемногу осваивали
язык, стали разбираться в улицах города и даже разъехались
с Давидом, хотя жили в одном квартале и почти все свое
время проводили вместе.

Париж окутан дымкой какой-то светлой грусти. И в этой
грустной улыбке заключена тайна его неотразимой прелести.

В то время во Франции было сорок тысяч местных ху-
дожников и шестидесят тысяч приезжих. Шла борьба за су-
ществование, признание, за место под солнцем...

Когда в Парижской Академии художеств посмотрели на-
ши работы, нашли, что мы уже достаточно зрелые художники,
со своим творческим почерком. «Вряд ли занятия в Акаде-
мии принесут вам пользу, — сказали нам. — Оставайтесь в
Париже, следите за направлениями в живописи, работайте са-
мостоятельно, выставляйтесь... Это — лучшая школа. А в
Академии вы пройдете французскую школу, потеряете свое
лицо...»

Нас несколько удивил такой совет. Тем не менее мы по-
следовали ему. Время доказало правильность выбора.

Я жил на улице Югенса, в районе Монпарнаса, в ма-
ленькой мастерской. Конечно же, приходилось трудно, но жизнь
была полна вдохновенного, творческого труда. И нет в мире
счастья выше и полнее.

Почти каждый день мы бывали в кафе «Ротонда».

Какжется, там было всего лишь двенадцать столиков, в той
полутемной, утопающей в папиросном дыму комнате, где со-
бирались поэты и художники. Что же это было за кафе?..
Казалось бы, ничего особенного. А каким ореолом окруже-
но слово «Ротонда» в воображении сотен тысяч людей! Кто
только не бывал здесь! В шуме и гвалте кто-то вслух читал
стихи. И спорили, спорили: о кубизме, об абстракционизме,
реализме...

Здесь собирались люди самого разного происхождения.
Большинству посетителей «Ротонды» жизнь давалась нелегко,
и это накладывало отпечаток на их лица... Трудности были
не только материальные, но и моральные... «Ротонда», этот
пестрый, разноликий мир, изумляла даже привыкших ко вся-
ким экстравагантностям парижан.

Хозяином кафе был некий Либион. Илья Эренбург писал
о нем в своих воспоминаниях: «Либион не мог, конечно
предположить, что имя его войдет в историю искусства». Я
отчетливо помню его лицо. Это был человек удивительной
доброты... Обычно у его посетителей в кармане не было ни

единого франка. Порой, глядя на измученное голодом и нуждой лицо какого-либо гостя, хозяин просто так, по доброте души, покупал его картину, в искусстве он ничего не смыслил, да и картина была ему не нужна. Он покупал ее, чтобы художник не чувствовал неловкости за бесплатный обед. Не знаю, какой он находил толк в этом, но был так привязан к пестрому люду, посещавшему его кафе, что не мыслил иной жизни для себя.

Многие из этих нищенствующих художников приобрели потом имя, положение, славу, однако, как правило, продолжая и навещиваться в «Ротонду». В таких случаях Либион почтительно приветствовал их. Он любил этих людей. Говорят, что и впоследствии, продав кафе, он часто приходил сюда, садился за столик и с грустью глядел вокруг... Художники платили Либиону ответной любовью, они же и проводили его в последний путь... Поэты и художники были его последними близкими друзьями.

«Ротонда» играла большую роль в формировании взглядов ее посетителей. Печально, что сейчас уже нет этого кафе... В памяти отпечатались столики, которые обычно занимали постоянно бывавшие здесь Пикассо, Модильяни, Ривьера, Апполлинер, Леже, Дерен, Фужита...

Кого только я не встречал здесь!.. Пикассо... Он приходил сюда со своей белой собакой. Он был уже тогда известным художником, и Либион всегда с благоговением приглашал его за столик.

— Пожалуйте, господин Пикассо, — говорил он сдержанно и провожал художника к отведенному ему столику.

О людях, которых я встречал в «Ротонде» и вообще в этот период жизни, речь пойдет дальше. Сейчас же мне хочется рассказать о наших первых шагах в мире искусства огромного города, первым путеводителем по которому была «Ротонда».

В «Ротонде» всегда знали, где и какая открывается выставка. И вот однажды я узнаю, что в «Зимнем салоне» («Салон ливер») организуется новая выставка. Это было огромное, похожее на храм здание, в котором помещалось двадцать тысяч картин. В зеленом парке, окружающем здание, экспонировались работы скульпторов.

Я решил испытать судьбу и на следующий же день, естественно, страшно волнуясь, отправил туда четыре картины. Новые мои знакомые молчали, но в их глазах я читал те же мысли, что обуревали и меня самого. Они считали преждевременным для новичка отправлять свои работы в «Зимний салон». Но случилось невероятное. Через четыре дня пришло сообщение, что на выставку приняты все работы. Представьте себе мой восторг... Эта весть удивила всех. Говорили, что такой успех иностранца — вещь совершенно неожиданная и крайне редкая.

Однако, меня ждала еще большая радость. Я получил письмо, в котором сообщалось, что моя картина «Кутеж кинто с женщиной» понравилась испанскому художнику Игнасио Сулоаге и он просит меня назначить цену.

Я отправился в салон и сказал организаторам выставки, что если Сулоага выбрал среди такого количества работ, то я готов подарить ему ее...

— Это невозможно... — ответили мне, однако пообещали передать мое предложение Сулоаге.

На другой день, к вечеру, когда я уже собрался отправиться в «Ротонду», ко мне в мастерскую неожиданно явился гость.

— Если не ошибаюсь, я пришел к художнику, чьи работы видел на выставке в «Зимнем салоне»...

Я не верил своим глазам. Передо мной стоял Игнасио Сулоага.

— Да, маэстро, это я... Прошу вас, проходите.

Гость снял шляпу и, слегка наклонив голову, вошел в комнату. Некоторое время он молча рассматривал картины на стенах, а потом спросил меня, откуда я родом.

— Я грузин.

— И давно живете в Париже?

— Всего несколько месяцев...

Сулоага снова стал смотреть на картины, смотрел внимательно и долго...

Заинтересовался Грузией, ее искусством... И я стал рассказывать ему о прошлом своей родины, о памятниках культуры, о грузинских фресках, о нашем народе, история которого — это история борьбы за существование и независимость. Он слушал меня с большим вниманием.

— Когда вы рассказываете о Грузии, я вспоминаю историю Испании, — сказал он, выслушав мой рассказ. А я добавил, что существует предположение об общности происхождения басков и грузин. Это поразило моего гостя.

— Надо же, — сказал он, — значит, есть у меня интуиция, если среди такого количества представленных на выставке художников я выбрал вашу картину.

Сулоага отобрал несколько картин и спросил, согласился ли бы я расстаться с этими работами.

— Конечно же, пожалуйста.

Сулоага улыбнулся и достал две пачки франков.

Я долго отказывался, просил его принять картины в подарок, но он и слышать об этом не хотел.

— Я многое испытал в жизни и знаю цену всему. Вам сейчас нужны деньги. Берите их.

Когда Сулоага ушел, меня охватило такое волнение, что, не в силах оставаться в мастерской, я решил бежать в «Ротонду». Хотел надеть шляпу, но она, как ни странно, оказалась мала. Я сообразил в чем дело... Сбежав по лестнице, увидел уже в отдалении фигуру Сулоаги. Я догнал его...

Потом, много позже, я как-то рассказал эту историю известному археологу Куфтину. Он улыбнулся и сказал: «Какая прелесть... Я ясно представляю себе картину: в Париже, на бульваре Монпарнас два баска обмениваются шляпами».

Сулоага был к тому времени уже широко известным художником, считался классиком. Он жил то в Париже, то в Мадриде. По приглашению Сулоаги я несколько раз посетил

его мастерскую. Мы беседовали об Испании, о Париже, Грузии, о живописи... Сулоага говорил, что мои картины войдут в его коллекцию, а потом он передаст их мадридскому музею. К слову сказать, несколько лет тому назад у меня был гость из Испании, поэт Луис Ландинес. Мы долго беседовали, а рассказал ему о своих встречах с Сулоагой, и он сказал, что видел мою картину в коллекции испанского художника. Поэта очень позабавила история со шляпой, он отметил, что это сюжет для рассказа. «Он уже написан, — сказал я ему, — писателем Ладо Авалиани». Засмеявшись, поэт сказал, что тогда он напишет об этом стихи. И действительно написал.

На первой выставке была продана и вторая моя картина «Тост на рассвете». Ее приобрел Акакий Хоштария.

Как-то мы с Давидом Какабадзе и Шалвой Кикодзе отправились на знаменитый бульвар Рю посмотреть выставки расположенных здесь в частных галереях (экспозиции в них менялись каждую неделю). В одной из них, в «Галерее Розенберг» на площади Мадлен (владелец этой галереи экспонировал работы только таких художников, как Пикассо, Матисс, Брак), на этот раз была устроена выставка работ кубистов...

Вдруг до нас донеслась грузинская речь. Мы увидели трех человек, разглядывающих картину Пикассо. Мы прислушались к их беседе... Один из них восхищался картиной... Как интересно, говорил он, в Грузии ведь не знают этого художника. Надо непременно приобрести картину.

Приглядевшись, мы узнали Акакия Хоштария. Его спутнику картина не нравилась. Он отговаривал Акакия от покупки, уверяя, что вряд ли она кого заинтересует. Хоштария колебался.

Подойдя к ним, мы сказали, что слышали их беседу и рады их намерению приобрести работу Пикассо. Спор возобновился, но мы не являлись для них авторитетом, и в конце концов они не решились на покупку. Купили они тогда, помню, картину Анре Лотта, французского кубиста, и вместе с моей картиной отослали в Музей искусств Грузии.

Я стал часто участвовать в групповых выставках. Были организованы также мои персональные выставки в Париже и Нью-Йорке.

Есть в жизни человека события, ситуации, люди, которые навсегда остаются в его сердце... Сколько бы ни прошло времени, они продолжают жить в памяти, согревая чувством безмерной любви, благодарности...

Одним из таких людей был в моей жизни Морис Реналь. Я встретился с ним случайно. Было это на одной выставке. Помню, польский друг, с которым я осматривал выставку, сказал мне:

— Здесь находится сейчас известный французский искусствовед. Ему нравятся твои работы, и он хочет познакомиться с тобой.

— Потом Реналь побывал у меня в мастерской. Мы долго беседовали с ним... Реналь заинтересовался прошлым Грузиной, ее культурой, искусством.

читал
16.03.59
202.111033

— Я немного знаю Грузию, — сказал он мне, — читал о ней кое-что, однако впервые встречаюсь с представителями этой страны...

Постараюсь хотя бы фрагментарно восстановить то, что он, к моему удивлению и великой радости, говорил тогда о Грузии...

«Грузия для меня—это далекая, окутанная тайной страна. В детстве я вычитал в учебнике географии, что она расположена между двух морей, одно из которых называется Черным. Я долго мучался мыслью, почему оно так называется, это таинственное Черное море. Я даже пытался рисовать контуры этой страны... Горы, на одном из скалистых склонов которых боги приковали Прометея. Помню песню, восхвалявшую дивную красоту грузинки. В моем альбоме до сих пор сохранились фотографии грузинских красавиц. Одну я хранил особенно бережно — она напоминала мне любимую девушку. Тогда я узнал еще, что грузинки — первые красавицы в мире, а мужчины Грузии — несравненные наездники. Из этого проявляется темперамент, природа грузина. Ведь Грузия горная страна. И склоны гор ее, наверно, извилисты, реки несутся, разбиваясь на речки и ручейки. И люди движутся стремительно... Я вижу все это в ваших картинах... Главное в них — линия и движение... Движение лица, глаз, тела, рук, особенно рук... Для меня Грузия — это нечто исполненное элегичности, добра, своеобразия, поражающее необычным колоритом, манящее сильнее, чем сказки «Тысячи и одной ночи»... Она богата легендами, мифами... В то же время преисполнена каким-то неразгаданным трагизмом... И поверьте, я чувствую все это в ваших картинах. Они как-то приблизили меня к Грузии, и я очень благодарен вам за это».

Так говорил Морис Реналь. Он говорил почти два часа, увлеченно и пылко...

Обо всем этом он написал позднее и в книге... Мы долго беседовали тогда об искусстве, особенно о современном искусстве, о новых направлениях.

Я многое запомнил из его слов на всю жизнь. Реналь сказал мне тогда: «Иностранцы в Париже должны суметь сохранить свое лицо. Не следует превращаться в эпигонов французского искусства. Что было бы ценного, скажем, в ваших работах, как бы мастерски они ни были выписаны, если лишит их национального колорита, то есть того главного, что отличает их от десятков тысяч других работ. Сейчас в Париже много говорят об этом, и совершенно справедливо. Ваши картины доказывают, каким самобытным осталось искусство Грузии, хотя она и пережила вековые войны... Вот что важно. Такое искусство внушает любовь к другой стране, к ее духовной жизни, говорит о том, что и там, далеко от нас, живет великое, чудесное искусство».

Эту точку зрения Морис Реналь развивает и в своей монографии о моем творчестве... Мне тогда он не говорил, что пишет книгу. И писал он ее, я думаю, отдавая дань своей любви к «прекрасной и таинственной стране», одним из представителей которой и был я тогда в Париже.

Морис Реналь говорит в своей монографии много добрых слов обо мне. Он пишет, например: «По картинам Ладислава Гудиашивили вы полюбите Грузию». Я был тогда естественно, бесконечно радовался книге Реняля. Хотя теперь я понимаю, что в те времена такая оценка была преувеличенной. И все же, что может быть приятнее для художника, чем сознание того, что его картины вызывают в иноземцах симпатии к его родине... Монография вышла в свет в 1925 г. Выпустило ее издательство «Сан парей» («Несравненный»)... Что и говорить, для меня это был весьма знаменательный и радостный факт... Книга, хоть она и вышла небольшим тиражом, нашла довольно широкий отклик в художественных кругах. Для меня появление монографии было неожиданностью. Тем более что Реналь после первого своего визита не появлялся в моей мастерской. Видимо, глаз у него был меткий, если он так хорошо запомнил все с одного посещения. Я встречался с Реналем в салонах и в кафе «Ротонда». Однако у меня с ним не было более тесного общения, чем с другими людьми, которых я встречал в этих местах. Я простился с ним в день отъезда в Грузию и просил непременно приехать в гости. Он ответил, что это его давняя мечта и он постарается ее осуществить. Но с тех пор я не видел больше Мориса Реняля.

Несколько лет тому назад я получил из Франции великолепно изданную книгу Реняля об импрессионизме. Его самого уже нет в живых. А книга эта — для меня бесценный подарок... От нее повеяло дорогим сердцу ароматом ушедших дней, ароматом Франции. Я благодарен Франции, ее талантливым сыновьям, благодарен годам, прожитым во Франции...

Когда я думаю о Париже тех дней, я непременно вспоминаю кафе «Ротонда». Каждый, кто приходил сюда, находил что-то свое...

Каждый вечер за отведенным ему столиком в кафе делал свои дивные зарисовки Амадео Модильяни. Часто прямо на наших глазах сотворялось чудо. Тогда Модильяни не был еще известен. Но он творил, творил свои удивительные картины, они несли в себе боль времени, вечное таинство человеческих радостей и страданий. Что же иное означает понятие «современный художник», как не умение выразить чувства и мысли своего времени, его глубинные особенности... Для этого мало создать портреты, зримо приближенные к оригиналу. Куда важнее выявить суть характера, проникнуть в тонкий склад духовного мира человека. Таким художником и был Модильяни — живописец человеческих душ, великий талант, озаренный высокой поэтичностью. При жизни художника никто не покупал его картины. Многие просто не понимали удивительно тонкого его искусства, но и те, кто ощущал силу Модильяни и прекрасно знал цену его работам, — и те их не покупали. После смерти же Модильяни предпринимчивые знатоки заполучили его работы за бесценно. Большая часть картин Модильяни разбросана по всему миру в различных частных коллекциях. Настанет ли день, когда

возможно будет увидеть если не полную, то хотя бы приблизительно цельную выставку его работ?

Помню, однажды в «Ротонде» готовилась очередная выставка. Принес свои работы и Модильяни, сложил их рядышком и уселся за свой столик, на котором лежал альбом для зарисовок. Он был очень грустен в тот вечер. Напротив него сидели мужчина и женщина, и Модильяни раскрыл альбом и стал рисовать ее. Как видно, рисунок не удовлетворил его, и он сделал второй набросок и передал его женщине. Она надменно заметила, что портрет вовсе не похож на нее, и вернула рисунок обратно.

— О, эти женщины, ничего они не смыслят в искусстве, — воскликнул в сердцах Модильяни и, передав рисунок мне, добавил: — Возьми себе на память.

...Недавно мою мастерскую посетил гость из Франции. Увидел у меня эту зарисовку и, восхищенный, сказал, что если бы я вздумал продать ее сегодня во Франции, то смог бы безбедно прожить там на вырученную сумму около полугода.

Портреты Модильяни, казалось, действительно не походили на тех, с кого они написаны. Однако это всего лишь первое, поверхностное впечатление. В его рисунках много условного, но какой бы удивительной ни была эта условность, как бы ни абстрагировалась от внешнего облика модели, в работе Модильяни всегда жила особая поэтичность восприятия сложного духовного облика модели. Его рисунки — это «беседы без слов». Модильяни не «предумышленно удлинял человеческие лица», как говорят иногда, не подчеркивал их асимметричность. Сокровищницу мировой живописи Модильяни обогатил паразитически поэтическими образами. Каждый его портрет рождает ощущение какой-то неизъяснимой близости, словно когда-то ты уже видел, наяву или во сне, эти тонкие печальные лица. Может быть, именно в этом сила их неотразимого очарования.

Он и сам был красив необыкновенно одухотворенной красотой.

Хозяин «Ротонды» Либион, как я уже говорил, ничего не смыслил в живописи. И картины Модильяни ему, конечно, ни о чем не говорили. Но он не мог оставаться равнодушным к страданиям Модильяни и часто покупал у него картины, приглашая за них на обед или чашку кофе... А Модильяни только и нужно было, чтобы кому-то понравилась его работа, чтобы кто-то прочувствовал боль его души.

Модильяни похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез. На могильной плите начертано по-интальянски:

«Амадео Модильяни. Художник. Родился 12 июля 1884 года. Скончался в Париже 24 января 1920 года. Смерть застала его на заре славы».

Чуть ниже на той же плите можно прочитать слова:

«Жанна Эбютерн. Родилась в Париже, 6 апреля 1898 года. Скончалась в Париже, 25 января 1920 года. Преданная спутница Амадео Модильяни, которая не смогла пережить его».

Мне довелось видеть Жанну Эбютерн. Я так и запомнил ее, идущую рядом с Модильяни по улице Монпарнас.

Смерть Модильяни была истинной трагедией, и чувствовали все сразу, в тот же день.

Сейчас Италия и Франция оспаривают Модильяни друг у друга... Искусствоведы не устают спорить — итальянский ли он художник или французский? А в крупнейших национальных музеях обеих этих стран — всего лишь по нескольку его работ. Остальные, увы, разбросаны по частным собраниям.

...Пожалуй, о многих великих художниках можно сказать: сложись их жизнь иначе, возможно, они делали бы нечто совершенно другое. Ведь многие пробовали свои силы в самых различных сферах искусства, прежде чем стать художниками... Но Пабло Пикассо родился художником. Невозможно представить себе его вне изобразительного искусства, особенно живописи. Факт его биографии — он научился рисовать раньше, чем говорить.

Я не собираюсь сейчас говорить о творчестве Пикассо вообще, о его «голубом» или «розовом» периодах, о кубизме, которому он отдал много времени, об абстракционистских картинах. Творчество Пикассо одни специалисты разделяют на различные периоды, другие вообще не согласны делить творчество великого художника на отдельные периоды (в том числе и Маяковский), и мне такая точка зрения кажется более правомочной. Пикассо всегда разный, переменчивый, потому что переменчива и разнообразна сама жизнь. Суть в том, что периодизация творчества художника — это все-таки условность. Рассуждения на эту тему могут завести далеко. Бесспорно одно, Пикассо — один из величайших творцов нашего столетия.

О Пикассо писали и пишут много... Много говорят о его творчестве. Когда же я думаю о нем, в памяти воскресают дни далекой молодости... Однажды я сидел за столиком в одиночестве и попивал кофе. В «Ротонду» вошел Пикассо... Он вел с собой на тоненьком металлическом поводке маленького французского пуделя. Окинув взглядом утопающий в папиросном дыму зал, он увидел свободное место рядом со мной и направился к моему столику (его место было занято, что случилось крайне редко). Пудель прикорнул рядом... Пикассо посмотрел на меня с улыбкой и кивнул мне головой. Потом, подзвав гарсона, попросил принести кофе и бутерброд. Я тогда не был лично знаком с ним... Знал только, что это Пикассо, и был рад, что он сел за мой столик... Пикассо был занят своей собакой. Я всматривался в его лицо, руки, удивительно красивые руки. И была в нем какая-то беспокойность... Позднее, узнав его ближе, я убедился, что беспокойность эта — черта его характера. Я никогда не видел его в ином состоянии. Даже когда он был не в духе и сидел без движения, и тогда ощущалась эта его всегдашняя неугомонность. Эту его особенность подчеркивали удивительно живые глаза. Я часто видел его грустным, ушедшим в свои мысли, он часами сидел тихий, задумчивый в кафе «Ротонда». Я видел его и очень веселым...



964025940
3022010333

В первую нашу встречу он обратился ко мне:

— Который час? — И, дождавшись ответа, добавил:

Я вижу, вы не местный...

— Да... Я из Грузии.

— А что делаете в Париже?

— Я — художник.

Ему было, очевидно, приятно услышать это.

— А я — Пикассо, — сказал он и, подсев поближе, стал расспрашивать, как я живу, участвую ли в выставках.

— Да, — ответил я.

Он засмеялся и сказал:

— О, значит, дела продвигаются, — и добавил потом: — Смотрите, не давайте себя в обиду здесь, в Париже.

Я спросил, почему он не принял участия в выставке (в те дни в «Ротонде» была новая экспозиция групповой выставки).

— Устаю, — ответил Пикассо, — не могу участвовать во всех выставках. Вот на днях в салоне Розенберга откроется моя выставка, приходите.

Так я впервые беседовал с Пикассо.

...Каждое воскресенье парижские художники выставляли свои работы. На бульварах, улицах, в скверах тысячи людей могли видеть, как работают художники. В таких импровизированных выставках нередко участвовали и очень известные художники. Пикассо тоже появлялся здесь со своими рисунками и неизменной трубкой во рту. С шести часов утра уже собирались люди, выстраивались в очередь. Это бывало целым событием. Выпускалась программа выставки. Однажды я попал на такую выставку по соседству с Пикассо.

Парижане любят живопись. А на подобных выставках можно было сравнительно дешево приобрести работы таких художников, как Пикассо, к тому же получить автограф. Каждый стремился приобрести картину известного или нового художника. Оживление, шум и гвалт царили вокруг. В этих своеобразных «ярмарках» принимали участие не только художники и скульпторы, но и композиторы. Вытащит, скажем, композитор рояль на улицу и здесь же, импровизируя, сочинит какую-нибудь мелодию, простую, конечно... Исполнит ее, тут же запишет и продает ноты.

Я тоже часто участвовал в этих ярмарках, продавая свои работы, естественно, за гроши...

Помимо выставок устраивались различные празднества. Торжественная церемония взятия Бастилии, например, длилась целых три дня. Импровизированные театральные постановки, вечера поэзии, самые различные зрелища, аттракционы. Все это было красочно, впечатляюще и интересно, тем более для художника.

Торжества эти были так увлекательны, что не только парижане, но и многие иностранцы с увлечением принимали в них участие.

Французы, по природе своей, очень веселый и жизнерадостный народ. В этом отношении они всегда напоминали мне грузин.

Меня, бывало, спрашивали:

— Несмотря на то, что Грузия окрашена в цвета радуги и народ ее наделен веселым нравом, в вашей фресковой живописи сквозит грусть. Интересно, что тому причиной?

— Глубину национального характера постичь не так просто, — отвечал я обычно на этот вопрос, — Не только живопись, но и наши народные песни и поэзия окрашены грустью. Грусть, печаль сквозят и в наших фресках. И это, конечно, имеет свои исторические причины.

Невозможна прямая аналогия, и все же нечто подобное присутствует и во французском искусстве... И в самом Париже... Невзирая на яркие, красочные и веселые празднества, Париж все-таки город, овеянный грустью. Во всяком случае, для меня.

Не могу забыть удивительные зрелища. Одним из них был бал живописцев, скульпторов, графиков и архитекторов...

Устраивались шествия под самыми разнообразными девизами. Например — карфагенская эпоха, римский период, египетские фараоны и др. Все наряжались в соответствующие этой эпохе одеяния. Шествие сопровождалось музыкой, ритуалами... И вся эта грандиозная процессия направлялась к залу... Развлечения, игры носили характер театрализованного представления. Этот праздник обычно устраивался 14 июля и продолжался до шести утра следующего дня... А в шесть часов, на рассвете, все собирались на площади Конкорд у огромного фонтана... Участники праздника должны были совершить обряд омовения в этом фонтане. Попасть в зал стоило больших денег. Дорого обходилась любознательность жаждущим взглянуть на это зрелище... Но интерес к нему был столь велик и популярность его столь широка, что буквально все стремились попасть на него...

Я дважды принял участие в такого рода шествии. Сам сшил себе костюм, загримировался и просто примкнул к процессии... Было интересно непосредственно, самому прочувствовать происходящее... Уж очень заманчивой казалась мысль запечатлеть красочное зрелище на холсте. Я так и не написал такой картины. Но позже, когда я работал над другой темой — свадьба в Армази, — именно это воспоминание помогло мне передать грандиозность события. Так часто происходит: в совершенно неожиданных, казалось бы, ситуациях возникает неожиданная ассоциация, стимулирующая творческий процесс. Если какое-нибудь событие производит на человека большое впечатление, оно не может исчезнуть бесследно... Порой, гоня от себя меланхолию и дурное расположение духа, возьмешь томик Важа Пшавела или Стендаля, прочитаешь страницы... И постепенно незаметно возвращается охота к работе, к отложенной картине... Все прекрасное — будь то книга или картина, музыка или театральное представление — оставляет в человеке неизгладимый след...

...Круг моих друзей в Париже постепенно расширился. Не только в «Ротонде», но и в моей мастерской часто собирались художники и писатели... В тот период я сблизился с Андре Бретоном, Филиппом Супо, Луи Арагоном, Пьером

Вормсом, Франсом Мазарелем и другими... А в «Ротонде» и часто встречался с Ильей Эренбургом и Ильей Зданевичем. Однажды там появился Владимир Маяковский. Мы были знакомы еще по Тбилиси, и оба очень обрадовались встрече. Мне было приятно слушать его своеобразную грузинскую речь. Он рассказывал о московских и тбилисских новостях, говорил, что хотел бы встретиться с парижскими художниками, в частности, с Пикассо, Дереном, Браком, Леже, и предложил мне сопровождать его...

Маяковский уже кое-что знал о нас и радовался нашим успехам. Рассказал, что накануне допоздна гулял с друзьями-поэтами, вернувшись на рассвете в гостиницу, обнаружил, что его обокрали—унесли две книги и рукопись стихов. Я страшно огорчился. А он улыбался.

— Знаю, у тебя денег не будет... Отправлюсь в наше консульство, может, помогут... — Маяковский собирался тогда в Америку.

В Париже он провел несколько дней. Мы встретились еще в мастерской Айзика Федери и даже фотографировались... Это фото и сейчас хранится в моем архиве. На нем я сижу за маленьким столиком, за мной сидит Маяковский, а рядом, с кистью в руке, стоит французский критик Вольдемар Жорж. Имена остальных уже забылись. На фотографии видна полка, уставленная коллекцией негритянских скульптур, которыми, как и многие в тот период, увлекался Айзик Федери.

Французские поэты решили отметить пребывание Маяковского в Париже. Встреча состоялась в кафе «Обсерватория». Маяковского приветствовали известные в то время поэты и писатели, а он, с присущим ему одному, неповторимым, своеобразным вдохновением читал свои прекрасные стихи... У меня сохранились фотографии и этого вечера...

Здесь же мы встретились с Сергеем Есениным и Айседорой Дункан. Она вспоминала «удивительную Грузию», где несколько раз бывала на гастролях.

А в один прекрасный день в кафе «Ротонда» появился Сергей Судейкин... Я был безмерно рад встрече с ним. Судейкин приехал прямо из Тбилиси и даже привез мне письмо от друзей, но оно было разорвано пополам, и, вручая его мне, Сергей, смеясь, сказал, что ему не хватит и трех дней, чтобы объяснить, почему оно в таком виде. И тут же стал рассказывать:

— Получив визу, я сразу же приехал в Батуми. Ночью пароход, наконец, отправился в путь. Вокруг все стихло. Я направился в каюту и только задремал, как меня разбудил какой-то переполох. Мы были уже в море (только потом я узнал, к своему удивлению, что мы были еще только близ Трабзона), а странный шум и гвалт слышались все явственней. Выхожу на палубу, перед глазами предстает странная картина! На пароход напали четырнадцать молодцов в бурках и грабили пассажиров... Вдруг они подлетели ко мне и стали обыскивать. Ребята были как на подбор, а весь этот процесс происходил под песни и пляски. И никакого насилия... Они спрашивали, есть ли у нас деньги, заходили в каюты, просили у женщин духи и пудру и, хохоча, выливали себе на головы

целые флаконы. И письмо они разорвали. В конце концов эти ребята предложили трем пассажирам отправиться с ними на берег и обещали желающим сопроводить их не только вернуть все у них конфискованное, но посулили даже щедрые дары. Все отказались. А я решил рискнуть... Но на берегу произошло нечто еще более странное. «Грабители» вручили мне все деньги и велели вернуть их владельцам. Мол, они и не бандиты вовсе, а просто решили поразвлечься.

Прошло время, и компанию эту все-таки задержали. Но наказать их было невозможно. Существует, оказывается, закон — раз преступление произошло в море, а не на турецкой земле, а пострадавшие находились на французском судне, то и судить их могли только во Франции. Всю группу доставили в Париж. Судьи не могли унять хохота во время слушания дела и, конечно, всех освободили...

...Сергей Судейкин был очень интересным, своеобразным художником. Он приехал в Грузию для ознакомления с фресковой живописью и так близко сошелся с тбилисской литературной богемой, что остался в Грузии на долгое время. И надо отметить, что он сделал много добрых дел, он создал замечательные пейзажи и портреты, которые по сей день хранятся в семьях его тбилисских друзей...

Портретами грузинских писателей и картинами старого Тбилиси украсил он одну из стен кафе «Химерион».


Я встречался с Судейкиным в Париже почти каждый день то в кафе «Рогонда», то в картинных галереях.

Из своих друзей того периода не могу не вспомнить с особой теплотой бельгийского художника Франса Мазерееля, автора замечательных графических рисунков. Мы очень дружили с ним, часто выставлялись вместе. Позднее он приехал в Тбилиси. Это была радостная встреча. Однажды со стороны гостиницы «Интурист» до меня донесся оклик: «Ладооо, Ладооо...».

Не думая даже, что зовут меня, я просто выглянул в окно и — о, боже.... Кто-то смеется и машет мне рукой... «Да это же Франс Мазереель!» — закричал я, совершенно обезумев от радости. Было это лет двадцать назад.

— Захотелось увидеть Грузию и тебя, — сказал тогда Мазереель...

...Был у меня в Париже еще один добрый друг — Пьер Вормс... Он был в то время владельцем галереи, а позже занялся изданием книг. Вормс был тонким ценителем и знатоком искусства, он очень любил живопись и проводил все свое свободное время в обществе художников. Пьер Вормс был одним из тех людей, которые верили в меня и поддерживали... И хотя после моего возвращения на родину мы почти ничего не знали друг о друге, он собрал у парижских знакомых некоторые последние мои графические работы и в 1935 году организовал их выставку в Париже. Позже я узнал, что эта выставка вызвала большой интерес в художественных кругах, особенно у тех людей, которые и прежде обращали внимание на мои работы. Оказывается, Пьер Вормс специально пригласил на выставку Мориса Реналья и Андре Сальмона. Кстати, Ан-



дре Сальмон, ныне известный искусствовед, написал статью обо мне для каталога второй моей парижской персональной выставки, состоявшейся в 1925 г. в галерее Билей. В этой статье Сальмон чрезмерно меня расхваливал. Это была большая честь для меня. Ведь Андре Сальмон — критик, представивший широкой публике таких художников, как Пикассо, Матисс, Утрилло, Вламинк, Мари Лорансен и другие. Впоследствии Пьер Вормс писал мне, что оба известных искусствоведа остались очень довольны этой выставкой. О ней, оказывается, писали критики Жак де Лапард, Раймон Кони и др. «В среде художников и любителей искусства, — писал Пьер Вормс, — мы часто спрашивали друг друга, что же стало с Ладом Гудиашвили, с художником, от которого мы столько ждали и который оставил нас, чтобы вернуться в родные края? И вот один из наших друзей, совершивших длительную поездку по Союзу, привез нам первую весть о Ладом Гудиашвили. Он попросил у Ладом несколько картин, привез их в Париж. И тут же вручил их мне. А я, увидев их, не мог удержаться и организовал третью выставку работ Гудиашвили — работ нового периода его творчества...»

Приведу еще отрывок из его статьи.

«...Чем обусловлен успех последних работ Ладом Гудиашвили в Париже? Что поразило так друзей и почитателей его таланта, к числу которых имею счастье отнести и себя? Ладом Гудиашвили, некогда бывший надеждой французской школы, за прошедшие десять лет сформировался как большой мастер со своим индивидуальным обликом: сегодня его живопись выражает те чувства, которые питают не только национальную стихию, но и все современное поколение...»

Возвращение в Тбилиси, близость родной земли наполнили Ладом, словно Антея, новой силой.

В Париже Ладом Гудиашвили сумел развить и организовать свое природное дарование, освоить технику живописи. Вернувшись же в Грузию, он с большей силой оценил лирические и эпические стороны грузинской жизни, красоту которой он и воспевает так своеобразно».

Мне довелось жить в Париже именно в тот период, когда широкое развитие получили кубизм, футуризм, конструктивизм, сюрреализм, дадаизм... Париж жил поразительно динамичной жизнью. У каждого художника была своя программа. Естественно, в этом были свои как положительные, так и отрицательные стороны. Общественность уже не интересовалась старыми, отжившими свой век направлениями в искусстве и с большим энтузиазмом встречала новые. Не все, разумеется, было приемлемо, но эти школы дали интересных художников... Некоторые из возникших тогда направлений продолжают свое существование и в настоящее время, и не только в Париже, но и во многих других странах. Помню, в тот период мне довелось поехать в Германию на несколько недель. К моему великому удивлению, я увидел там то же, что и в Париже. Когда же я спросил, почему страна с великой самобытной культурой подверглась такому влиянию французов, мне ответили, что это дань моде, полноценной и прекрасной. А традициям

немецкого искусства она повредить не может... Мода эта, которую тогда называли «прекрасной» и «полноценной», заповонила не только Германию, но и Англию, Испанию, Италию.

Каждый художник, молодой ли, старый ли, старался идти в ногу с новыми веяниями. Естественно, в этом водовороте многие имена вообще исчезали.

После каждой значительной выставки устраивались диспуты, на которых выступали строгие критики... Ставились и горячо обсуждались актуальные проблемы живописи и скульптуры...

Отчетливо запомнились диспуты о кубизме и футуризме. В них наряду с французскими деятелями искусства зачастую принимали участие и иностранцы. Это были очень деловые, острые и чрезвычайно интересные беседы. Я никогда не испытывал никакого ущемления, выставляясь рядом с именитыми художниками, и мои картины часто продавались. Это и было, собственно, единственным источником моего дохода. Коллекционеры, как пчелы, налетали на картины, выставленные в салонах и галереях. Покупателями, в основном, были французы, американцы, англичане, испанцы и итальянцы... Больше всего приезжало американских меценатов и владельцев галерей. Они тщательно отбирали работы интересующих их художников, покупали картины, а потом устраивали выставки. В одну такую галерею, принадлежащую Джеймсу Розенбергу, американскому коллекционеру, попала и моя картина... У меня сохранился каталог этой выставки, хотя вообще-то мои работы того периода разбросаны по многим городам и странам... У меня самого же осталось несколько картин.

Перевод Ирины ШЕЛИЯ.

Окончание следует

НЕЗАБВЕННЫЙ ДРУГ



Грузинские писатели, вся наша общественность скорбят по поводу смерти выдающегося русского писателя, одного из лучших представителей многонациональной советской литературы Константина Симонова.

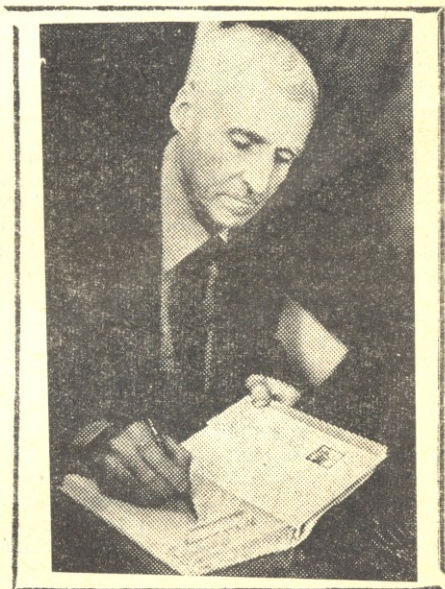
Симонов был писателем, все проявления многостороннего таланта которого отмечены высоким профессионализмом и чувством ответственности перед эпохой, Родиной и народом.

Свой творческий путь он начал с поэзии, и мы были свидетелями, как в годы войны его стихи заучивали наизусть и перекладывали на музыку.

Глубокие, остропублицистические, тематически актуальные пьесы Симонова стали постоянными спутниками советской сцены, а его прекрасная проза — целая серия эпических романов — явилась художественной летописью жизни и борьбы советского народа.

Мы всегда с большим интересом слушали публицистические выступления Симонова, когда он говорил с миром от имени всего советского народа.

Своим творчеством и общественной деятельностью Константин Симонов продолжил горьковские тради-



ции в деле упрочения дружбы советских народов, и нам очень трудно примириться с мыслью, что после смерти Николая Тихонова мы так неожиданно потеряли и Симонова, любимого писателя, сердечного друга, который сделал так много для укрепления дружеских связей между литературами наших народов.

Искреннюю симпатию и заботу проявлял он и по отношению к грузинской литературе. По единодушной просьбе грузинских писателей К. Симонов возглавил Совет по грузинской литературе при Союзе писателей

СССР, что существенным образом сказалось на работе совета.

Не так давно, когда проводились Дни советской литературы в Грузии, весь наш народ восторженно приветствовал его выступления на фабриках и чайных плантациях, в разных уголках нашей республики, которые он посетил будучи руководителем многочисленной делегации советских и зарубежных писателей. Мы были безмерно благодарны Константину Симонову за блестяще организованные вечера грузинской поэзии. Они были проведены им в Москве минувшей весной и явились лебединой песней его неустанной деятельности во имя нашей великой дружбы.

Деятельность и вдохновенное творчество Симонова воплотили в себе все то благородное, что характеризует взаимоотношения русской советской литературы и литератур братских народов.

Двери его дома были всег-

да широко открыты для представителей нашей многонациональной литературы. Здесь нас встречал хозяин гостеприимный, милый, удивительно сердечный, доброжелательный и поразительно щедрый, а висящие на стенах его квартиры полотна Пиросмани и Давида Какабадзе дарили нам радость.

Тяжело навсегда расставаться с человеком и писателем, который сделал столько добра и мог сделать еще больше для Родины и всей нашей многонациональной литературы.

Тяжело провожать в последний путь незабвенного друга.

Но память о нем, писателе и человеке, долго будет жить в сердцах тех, кто гордился дружбой с ним. А прекрасные книги Константина Симонова всегда будут ждать благодарный читатель — им уготовано почетное место в духовной сокровищнице советского народа.

Григол АБАШИДЗЕ

ПАМЯТИ СИМОНОВА

Ушел из жизни большой, бескорыстный друг нашего народа, выдающийся советский писатель Константин Михайлович Симонов.

Пройдут годы, придут новые поколения людей со своими думами, размышлениями, радостями, печальями, заботами.

Имена многих деятелей науки, искусства, литературы, которые сейчас видны на авансцене жизни, уйдут за кулисы, найдут место в хрестоматиях, в исторических опусах, многие пропадут во мраке безвестности. Так было, так есть, так будет, такова сложнейшая диалектика жизни.

Но думается нам, звезда Константина Симонова всегда будет сверкать. Память о нем сохраняют его книги, вся его деятельность.

Не передать словами обаяние Симонова, взгляд его печальных, усталых от работы глаз. Современники часто переоценивают или недооценивают людей, формирующих их духовный облик. Константин

Михайлович, по-моему, сполна при жизни получил признание советского народа, выдающихся деятелей нашей партии.

Помню, в мою комнату редактора грузинского издания Крымского фронта зашел высокий, стройный, статный, красивый молодой Симонов. Если не ошибаюсь, он был в чине полкового комиссара. Я его узнал, встал, пошел навстречу. Он попросил машину, чтобы сейчас же уехать на передовые позиции.

Были и другие встречи. В Москве всю ночь почти до рассвета Константин Михайлович читал мне, Карло Каладзе (с которым он дружил долгие годы) и Н. Микава главы своего нового романа. Читал он прекрасно, вдохновенно, требовал делать ему замечания.

С Константином Михайловичем мы встречались не раз и за рубежом. Помню встречи в Италии, на конгрессе Пенклуба, где мне также предстояло выступить. Константин Михайлович сидел рядом и милым, участливым взглядом подбадривал меня, ведь в зале сидели светила мировой литературы и культуры.

Помню совместную поездку в Венгрию. Группа советских писателей приехала в Будапешт на конгресс Пенклуба. На пленарном заседании по просьбе Г. М. Маркова выступил К. М. Симонов. Его боевая, принципиальная, умная речь и друзьями, и нашими противниками была выслушана с напряженным вниманием.

Вспоминаю наши встречи с известным итальянским писателем Пиовене в Милане, в его квартире.

Во всех своих выступлениях К. М. Симонов (я имею в виду зарубежные встречи с писателями) горячо отстаивал наши позиции. С огромным тактом, умом, без излишней горячности умел он налаживать контакты с выдающимися писателями Запада, причем, он никогда, даже в мелочах, не уступал нашим оппонентам, конечно, если дело касалось принципиальных и значительных проблем культуры, литературы. Всегда поражал огромный такт, с которым Константин Михайлович решал иногда весьма запутанные и противоречивые вопросы.

В последний приезд в Грузию я не видел Константина Михайловича. Я знал о его болезни, но никогда на эту тему с ним не разговаривал. Только раз в Италии, в Венеции, на заседание Пенклуба он пришел бледный, усталый. Вечером, зайдя к нему в номер, я занес ему бутылку «Мукузани», уверив, что два глотка вина ему помогут. Симонов, известный трезвенник, выпил чайный стакан и немного погодя сказал: «Прекрасное вино, мне стало лучше».

К. М. Симонов работал буквально не переводя дыхания. Так мог работать только человек большого таланта, самодисциплины, усидчивости.

Нет больше с нами дорогого, любимого товарища, нет больше выдающегося советского русского писателя. На мировом поэтическом небосклоне потухла яркая звезда, но вечно будет жить, гореть, светить большое литературное наследие выдающегося писателя Страны Советов.

Владимир МАЧАВАРИАНИ

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»

ТАК называется автобиографическая повесть Георгия Папиашвили, только что увидевшая свет на русском языке. Издательство «Советский писатель» предлагает ее вниманию читателя в авторизованном переводе с грузинского Александра Тверского. Отныне книга грузинского писателя, драматурга и журналиста, недавно безвременно ушедшего из жизни, начала свой путь к сердцу русского читателя. Судьба его героя Гоги, рассказанная искренне и просто, думается, пополнит галерею образов героев советской литературы, взращенных советской действительностью. Драматически сложилась жизнь маленького Гоги. Беспризорник, для которого случайная встреча с Теселидзе оказалась вехой жизни, становится верным защитником Родины, стойким борцом за дело Советской власти, подлинным ее гражданином, человеколюбивым и стойким духом.

Пророчески звучат сегодня слова, которыми открывается повесть «Возвращение к жизни»: «Когда я мысленно возвращаюсь в давно прошедшие годы, мои бывшие переживания кажутся мне не такими жгучими, как прежде. И люди, которые в свое время заслонили мне солнце, представляются ~~возсе не такими страшными, а маленькими, как муравьи.~~ Словно стою я на вер-

шине горы, а они копошатся где-то внизу, далеко-далеко. Странно, не правда ли: смертный час все ближе, а человек воображает, что настоящая жизнь только начинается и что все еще впереди».

«СЕСИЛЬ ТАКАИШВИЛИ»

К ВЫПУСКАЕМОЙ Театральным обществом Грузии серии «В мире театра» относится и эта книжка Нателы Урушадзе о замечательной грузинской актрисе, хорошо знакомой нашему зрителю как по театральным спектаклям, так и по кинофильмам. Сесиль Такаишвили всегда предельно достоверна и естественна. Созданные ею образы поразительно жизненны, очерчены точно, сочно и убедительно. Почитаемая многими поколениями зрителей, она неизменно волнует, заражает той здоровой народной мудростью и оптимизмом, которые, как правило, лежат в основе ее творчества. Умудренный опытом мастер, вдохновенный художник, прошедший большой творческий путь, С. Такаишвили щедро отдает свой талант народу. Она в подлинном смысле этого слова — народная артистка. Но, как пишет автор вышедшей на русском языке книжки (1978), посвященной ее творчеству, «жизнерадостное искусство Сесиль Такаишвили — плод бессонных ночей, напряженных раздумий, тяжелого труда и пре-



одоления множества препятствий. Только в результате такого труда творец может достичь такой степени мастерства, когда его произведение свободно от следов труда и потому производит впечатлительное впечатление на одном дыхании.

«НЕТ АЭРОПОРТА»

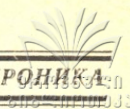
ЭТО — сборник рассказов о наших современниках. Его автор — молодой грузинский писатель, критик и литературовед Реваз Мишвеладзе. На его счету наряду с литературоведческими книгами (он — доктор филологических наук, профессор, преподаватель факультета журналистики Тбилисского государственного университета) сборники рассказов, вышедшие как на грузинском («Новеллы», «Слово»), так и на русском языках. «Нет аэропорта» — первая, вышедшая в Москве на русском языке книжка Р. Мишвеладзе, изданная «Молодой гвардией» (1978) в серии «Молодые писатели». Герои вошедших в этот сборник рассказов — жители небольшого провинциального городка, самые «обыкновенные» люди. И хотя они не совершают ничего героического, автор видит «необыкновенное» в их жизни в том, что они все делают честно — и трудятся, и любят. И за это писатель не только симпатизирует им, но и любит. Эта любовь подчас окрашена

у него юмором, иногда — иронией, порою — легкой грустью.

Русский читатель познакомится с этими рассказами Реваса Мишвеладзе в переводе А. Абуашвили и А. Эбаноидзе.

«ВЕРИКО АНДЖАПАРИДЗЕ»

АВТОР этой книжки — Котэ Ниникашвили, обрисовывая творческий портрет народной артистки СССР, лауреата Государственных премий и премии имени Котэ Марджанишвили Верико Анджапаридзе, с восхищением пишет: «Неиссякаем безграничный внутренний, духовный мир актрисы». Тот, кто имел счастье видеть ее на сцене и в кино, поймет, что именно это и определяет яркую, самобытную творческую и человеческую индивидуальность Верико Анджапаридзе, ее гражданское лицо. Именно личность актрисы делает столь значительным и необходимым все ею созданное. Именно в силе ее ума, характера, воли, преданности искусству театра — источник ее творческого долголетия. Восемь прожитых ею десятилетий не заглушили ее творческого горения. По словам автора книжки, она все также несравненно владеет тайной проникновения в прекрасное, по-прежнему своим искусством самоотверженно служит родному народу.



ЮБИЛЕЮ Д. ГУРАМИШВИЛИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

УКРАИНСКОЕ издательство «Мистецтво» («Искусство») и грузинское «Хеловнеба» начали совместную работу по выпуску в свет юбилейного издания «Давитиани», посвященного 275-летию со дня рождения Давида Гурамишвили, которое будет отмечаться в 1980 году.

В юбилейное издание «Давитиани» войдут также две поэмы Д. Гурамишвили — «Беды Грузии» и «Пастух Квиция». Издание будет состоять из двух книг, в том числе фотоальбома.

Украинское издание выйдет на украинском и русском языках с предисловием Микола Бажана, грузинское — на грузинском и украинском языках с предисловием академика Академии наук Грузии А. Барамидзе. Комментарии к грузинскому изданию — профессора С. Цаишвили.

Фотоальбом посвящен историческим местам, связанным с жизнью и деятельностью грузинского поэта, начиная с села Ламискана, где он был похищен горцами, до Миргорода, где в 1792 году скончался. Автор цветных фотографий, которых будет около 200, — украинский художник Е. Дерлеменко.

Сборник «Давитиани» и фотоальбом будут заключены в художественно оформленный футляр и станут прекрасным подарком к юбилею поэта.

ПАМЯТИ САЯТ-НОВА

СТАЛО уже доброй традицией ежегодно проводить в Тбилиси дни, посвященные памяти великого ашуга Саят-Нова.

Свыше десяти тысяч человек, представителей общественности трех республик Закавказья, поклонники таланта поэта, собрались в старейшем уголке столицы Грузии, где в 1795 году во время нашествия войск Ага Магомед-хана погиб Саят-Нова — поэт и гражданин, сын трех закавказских народов, пламенный певец свободы, дружбы и братства.

Встречу вступительным словом открыл секретарь правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили. В своей речи он особо подчеркнул непреходящее значение творчества Саят-Новы, создавшего свои произведения на армянском, грузинском и азербайджанском языках.

Встреча вылилась в подлинный праздник братской дружбы народов Закавказья.

КОНТАКТЫ РАСШИРЯЮТСЯ

В ГРУЗИИ гостил главный редактор венгерского журнала «Савар», критик Дьёрдь Пете, изучающий деятельность литературных журналов нашей республики.

В прошлом году он был гостем журнала «Литературная Грузия». Во второй свой при-



0000000000
0000000000

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

езд в Грузию Д. Пете знакомился с работой журнала «Мнатоби».

В редакции журнала «Мнатоби» гостя из Венгрии встретили главный редактор журнала Г. Натрошвили и заместитель главного редактора Р. Амашукели. Во время встречи шла заинтересованная беседа о развитии дальнейших литературных и дружеских взаимосвязей между грузинскими и венгерскими литераторами.

В Союзе писателей Грузии Д. Пете встретился с председателем правления Союза писателей республики Героем Социалистического Труда Г. Абашидзе и секретарем правления Союза писателей Грузии Г. Жоржолнани.

Д. Пете осмотрел достопримечательности Тбилиси и музеев столицы, побывал во Мцхета, Гори, Пасанаури, Ананури.

НЕДАВНО трудящиеся Богдановского района Грузии встретились с двумя замечательными советскими поэтами — Сильвией Капутикян и Иосифом Нонешвили.

Встреча состоялась в районном Доме культуры.

Поэтов-юбиляров, которым в этом году исполнилось 60 лет, приветствовал второй секретарь Богдановского РК КП Грузии П. Власов, заместитель председателя райисполкома И. Балишвили, редактор районной газеты «Аршалуйс» М. Седракиян и другие.

Перед собравшимися с чтением своих новых стихов выступили С. Капутикян и И. Нонешвили. Они говорили о традиционных связях грузинских и армянских литераторов, о том весомом вкладе, который они вносят в укрепление дружбы народов нашей многонациональной страны.

В заключение вечера состоялась концерт мастеров искусства.

61687/149



ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА

ГЕНИЕВА Екатерина Юрьевна. Литературовед. Кандидат филологических наук. Диссертационная работа посвящена художественной прозе Джеймса Джойса. Автор ряда статей по проблемам английской и ирландской литератур.

СТУРУА Лия Шалвовна. Окончила филологический факультет и аспирантуру Тбилисского государственного университета. Ведет курс лекций по истории грузинской литературы XX века. Первый поэтический сборник «Деревья в городе» вышел в 1965 году. Автор нескольких книг на грузинском и русском языках. Стихи Л. Стуруа переводились на английский финский, немец-

кий языки, а также языки братских народов.

УРУШАДЗЕ Паола Игоревна. Преподаватель Грузинского государственного театрального института им. Ш. Руставели. Читает курс лекций по истории зарубежного и русского дореволюционного театра. Автор статей по проблемам современного грузинского театра.

ШАЛАМБЕРИДЗЕ Огар Ираклиевич. Род. в 1932 г. Учился в Московском литературном институте им. Горького. Автор нескольких поэтических сборников. Стихи О. Шаламберидзе неоднократно переводились на языки братских народов.

„ლიტერატურული მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)“

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)

ბამთაძის 1957 წლის ივნისიდან. № 4 აპრილი 1979 წ.

Сдано в набор 10 августа 1979 г. Подписано к печати 21 сентября 1979 года. 5 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 84×108¹/₃₂.

40 коп

ИНДЕКС 76117